

Гофман Э.



ЭЛИКСИРЫ САТАНЫ

ШЕДЕВРЫ
МИРОВОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

Шедевры мировой литературы (Мир книги, Литература)

Эрнст Гофман

Эликсиры сатаны

«Алисторус»

1815

УДК 821.112.2
ББК 84(4Г)

Гофман Э. Т.

Эликсиры сатаны / Э. Т. Гофман — «Алисторус»,
1815 — (Шедевры мировой литературы (Мир книги, Литература))

ISBN 978-5-486-03530-2

Эрнст Теодор Амадей Гофман (1776–1822) – немецкий писатель, композитор, художник романтического направления. Псевдоним как композитора Иоганн Крейслер. Свое художественное мировоззрение он выразил в длинном ряду бесподобных в своем роде фантастических повестей и сказок «Золотой горшок», «Крошка Цахес», «Щелкунчик», сатирическом романе «Житейские воззрения Кота Мура» и других. В них Гофман искусно «микширует» чудесные и фантастические явления всех веков и народов с личным вымыслом, то мрачно-болезненным, то грациозно-веселым и насмешливым. В данном издании представлен роман «Эликсиры сатаны», посвященный любимой для Гофмана теме – разрушительному действию «темной половины» человеческой личности. Причем вторжение зла в душу человека обуславливается как наследственными причинами, так и действием внешних, демонических сверхъестественных сил. Главное действующее лицо – монах Медард, случайно отведав таинственной жидкости из хрустального флакона, становится невольным носителем зла. Повествование, ведущееся от его лица, позволяет последовать по монастырским переходам и кельям, а затем по пестрому миру и испытать все, что перенес монах в жизни страшного, наводящего ужас, безумного и смехотворного...

УДК 821.112.2
ББК 84(4Г)

ISBN 978-5-486-03530-2

© Гофман Э. Т., 1815

© Алисторус, 1815

Содержание

Предисловие издателя	7
Часть первая	9
Глава первая	9
Глава вторая	29
Глава третья	49
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Эрнст Гофман

Эликсиры сатаны

© ООО ТД «Издательство Мир книги», оформление, 2010

© ООО «РИЦ Литература», 2010

* * *

Посмертные записки брата медарда, капуцина, изданные сочинителем «фантастических повестей в манере Калло»¹

2

¹ ...сочинителем «Фантастических повестей в манере Калло» – первые три тома «Фантастических повестей в манере Калло» Э. Т. А. Гофмана вышли в Бамберге в 1814 г., четвертый том – весной 1815 г., незадолго до первой части «Эликсиров сатаны». Жак Калло (1592–1635) – французский художник и гравер, в произведениях которого причудливо сочетаются фантастика и реальность. В гротескной «манере Калло» Гофман видел прообраз собственного творческого метода. В дальнейшем эту формулу подхватил французский романтик Алоизиус Бертран, испытавший на себе сильное влияние Гофмана. См.: Бертран А. Гаспар из тьмы. Фантазии в манере Рембрандта и Калло. М., 1981.

² Первое издание «Эликсиров сатаны» вышло в Берлине у книгоиздателей Дункера и Умбло в двух книжечках карманного формата, первая в 1815 г., вторая в 1816 г.: *Hoffmann E. T. A. Die Elixiere des Teufels. Nachgelassene Papiere des Bruders Medardus, eines Capuziners. Herausgegeben von dem Verfasser der Fantasiestücke in Callots Manier.* Berlin, 1815–1816. В 1827 г., через пять лет после смерти Гофмана, роман был переиздан в одном томе теми же издателями. В том же году он появился как шестой том «Избранных произведений» Гофмана в берлинском издательстве Г. Раймера. Публикуется по изд.: Гофман Э. Т. А. Эликсиры сатаны. Л., 1984.

Предисловие издателя

Охотно повел бы я тебя, благосклонный читатель, под сумрачную сень платанов, где я впервые прочитал диковинное повествование брата Медарда. Ты сел бы рядом со мною на каменную скамью, еле заметную за благоухающим кустарником и ярко пламенеющими цветами; с томлением неизъяснимым смотрели бы мы с тобой на синие причудливые громады гор, встающие над солнечной равниной, что расстилается за пределами парка. Оглянувшись назад, ты увидел бы шагах в двадцати от нас готическое здание с порталом, щедро украшенным статуями.

С горящих яркими красками фресок на обширной стене смотрели бы на тебя, сквозь сумрачную листву платанов, ясные, полные жизни очи святых.

Алое, как жар, солнце садится на гребне гор, повеяло вечерним ветерком, всюду жизнь и движение. Шепот и ропот каких-то дивных голосов слышатся в деревьях и кустах, все яснее, яснее; словно невидимый хор и раскаты органа нам почудились где-то вдали. Молча, в ниспадающих широкими складками одеяниях шествуют по аллее сада величавые мужи с обращенными к небу благоговейными взорами. Уж не святые ли ожили там, наверху, и спустились с карнизов храма?

Ты весь преисполнился таинственного трепета, навеянного чудесами житий и легенд, здесь воплощенными; тебе уже мерещится, что все это и впрямь совершается у тебя на глазах, — и ты всему готов верить. В таком-то настроении ты стал бы читать повествование Медарда, и странные видения этого монаха ты едва ли счел бы тогда одной лишь бессвязной игрой разгоряченного воображения...

Но раз уж ты, благосклонный читатель, увидел лики святых, обитель и монахов, то нечего объяснять, что я привел тебя в великолепный парк монастыря капуцинов близ города Б³.

Мне привелось однажды пробыть несколько дней в этом монастыре; почтенный приор показал мне оставшиеся после брата Медарда и хранившиеся в архиве как некая достопримечательность Записки, и лишь с трудом уговорил я колебавшегося приора позволить мне ознакомиться с ними. Старец полагал, что по-настоящему эти Записки следовало бы сжечь.

Не без тревоги, что и ты, благосклонный читатель, примешь сторону приора, я вручаю тебе эту книгу, составленную по Запискам. Но если ты отважишься последовать за Медардом как его верный спутник по мрачным монастырским переходам и кельям, а затем по пестрому-пестрому миру и вместе с ним испытает все, что перенес он в жизни страшного, наводящего ужас, безумного и смехотворного, то, быть может, тебя развлечет многообразие картин, которые откроются перед тобой словно в камере-обскуре⁴.

Может статься, что с виду бесформенное примет, едва ты пристально взглядишься, ясный и заверченный вид. Ты постигнешь, как из незримого семени, брошенного в землю сумрачным роком, вырастает пышное растение и, пуская множество побегов, раскидывается виришь и

³ ...парк монастыря капуцинов близ города Б. — монашеский орден капуцинов (утвержден папой римским в 1528 г.) ведет свое начало от нищенствующего ордена францисканцев, основанного в начале XIII в. св. Франциском Ассизским. Орденское одеяние капуцинов, неоднократно упоминаемое в романе, составляла перепоясанная веревкой темно-коричневая сутана с пришитым к ней длинным капюшоном (отсюда и прозвище «капуцин»). В отличие от бритых францисканцев капуцины носили бороду. Город Б. — Бамберг (в южной части Германии), столица феодального духовного княжества-епископата, входившего в состав так называемой Священной Римской империи германской нации. Монастырь капуцинов близ Бамберга был сооружен в 1649 г. Здание просуществовало до второй половины XIX в., после закрытия монастыря использовалось для различных хозяйственных нужд. Гофман, живший в Бамберге с сентября 1808 г. по апрель 1813 г., действительно посетил монастырь в 1812 г.

⁴ камера-обскура, или камер-обскура (лат. «темная комната»), — приспособление с отверстием или линзой для получения обратного изображения предмета на матовой поверхности противоположной стены; изобретение приписывается Леонардо да Винчи.

ввысь, – доколе распутившийся на нем *единственный* цветок не превратится в плод, который высосет все живые соки растения и погубит его, равно как и семя, из коего оно развилось...

Прочитав с великим тщанием Записки капуцина Медарда – а это было нелегко, ибо блаженной памяти брат писал мелким неразборчивым монашеским почерком, – я пришел к мысли, что наши, как мы их обычно именуем, грезы и фантазии являются, быть может, лишь символическим откровением сущности таинственных нитей, которые тянутся через всю нашу жизнь и связывают воедино все ее проявления; я подумал, что обречен на гибель тот, кто вообразит, будто познание это дает ему право насильственно разорвать тайные нити и схватиться с сумрачной силой, властвующей над нами.

Быть может, и у тебя, благосклонный читатель, возникнет такая же мысль, – горячо желаю тебе этого по причине весьма значительной.

Часть первая

Глава первая

Годы детства и жизнь в монастыре

Мать никогда не говорила мне о том, какое место в жизни занимал мой отец; но стоит мне только вспомнить ее рассказы о нем в годы моего раннего детства, как я убеждаюсь, что это был умудренный опытом муж, человек глубоких познаний. Именно из рассказов и недомолвок матери о ее прошлом, которые стали понятны мне лишь гораздо позднее, я знаю, что родители мои, обладая большим состоянием и пользуясь всеми благами жизни, впали вдруг в тягчайшую, гнетущую нужду и что отец мой, которого сатана толкнул некогда на тяжкое преступление, совершил смертный грех, но милостию Божией прозрел в позднейшие годы и пожелал его искупить паломничеством в монастырь Святой Липы⁵, что в далекой студеной Пруссии.

Во время этого тягостного странствия мать моя впервые после долгих лет замужества почувствовала, что оно не пребудет бесплодным, как того опасался отец; и невзирая на свою нищету, возрадовался он всем сердцем, ибо исполнялось данное ему в видении обетование святого Бернарда⁶, что рождение сына станет залогом мира душе его и отпущения грехов. В монастыре Святой Липы отец мой занемог, и, чем ревностнее он, преодолевая слабость, исполнял тягостный чин покаяния, тем сильнее овладевал им недуг; он умер, получив отпущение грехов и полагая свое упование в Боге, в ту самую минуту, как я появился на свет.

С той поры, как я себя помню, теплятся в душе моей отрадные картины жизни в обители Святой Липы с ее величавым храмом. Вокруг меня еще шумит сумрачный лес; еще благоухают вокруг пышно разросшиеся травы и пестрые цветы, служившие мне колыбелью. Ни ядовитой твари, ни вредного насекомого не водилось в окрестностях обители; жужжание мухи, стрекотание кузнечика не нарушало ее благодатной тишины; слышались только благочестивые песнопения священнослужителей, что выступали во главе длинных верениц пилигримов, мерно размахивая золотыми кадильницами, из коих возносилось к небу благоухание жертвенного ладана. И у меня все еще перед глазами посреди церкви окованный серебром ствол липы, на которую ангелы некогда возложили чудотворный образ Пресвятой Девы. И все еще улыбаются мне со стен и взлетающего ввысь купола лики ангелов и святых в цветных облачениях!

Рассказы матери о благолепном монастыре, где по милости Божией она обрела утешение в глубокой скорби, так запали мне в душу, что, казалось, будто я сам все это видел, сам все пережил; однако столь ранние воспоминания едва ли возможны – ведь мне было всего лишь полтора года, когда мать покинула со мной святую обитель.

Но мнится мне порой, будто я своими глазами видел в безлюдном храме суровую фигуру дивного мужа; это был именно тот иноземный Художник, который в стародавние времена, когда церковь еще только строилась, появился здесь, где никто не знал его языка; в короткое

⁵ Монастырь Святой Липы – в Восточной Пруссии недалеко от Кенигсберга, оставался еще во времена Гофмана популярным местом паломничества. Церковь при монастыре, которую описывает Гофман, была сооружена в конце XVII – начале XVIII в. в стиле позднего Возрождения и барокко на месте старой (конец XIV – начало XV в.), разрушенной лютеранами в эпоху Реформации. Посреди старой церкви стояла липа, в новой церкви замененная резным липовым стволом со статуей Мадонны; с внешней стороны храма возвышалась каменная липа с железной листвою и статуей Мадонны. Легенда о чудотворной иконе Богоматери, будто бы возложенной на ветви дерева ангелами, известна в ряде вариантов у католиков и православных. Предание об иноземном художнике, якобы расписавшем церковь, не имеет исторических оснований и является свободным вымыслом Гофмана.

⁶ святого Бернарда – Берnard из Клерво (ок. 1090–1153), один из так называемых Отцов Церкви, средневековый мистик и проповедник, вдохновитель второго крестового похода (1147).

время он искусной рукой прекрасно и величаво расписал всю церковь и, закончив свой труд, исчез бог весть куда.

Помню еще старого Пилигрима с длинной седой бородой, одетого по-чужеземному; нередко он носил меня на руках, собирал в окрестном лесу разноцветные мхи и камешки и забавлял меня; но я уверен, что образ его лишь по описаниям матери так живо запечатлелся у меня в душе. Однажды он привел к нам неведомого мальчика дивной красоты, одного возраста со мной. Мы сидели с ним вместе на траве, лаская и целуя друг друга; я подарил ему все мои разноцветные камешки, и он умело складывал из них всевозможные фигуры, но в конце концов неизменно получался крест. Неподалеку, на каменной скамье, сидела моя мать, а старик, стоя за ее спиной, следил со сдержанной нежностью за нашими детскими играми. Вдруг из-за кустов появились какие-то молодые люди; судя по их одежде и по всем их повадкам, они из одного лишь праздного любопытства пришли в обитель Святой Липы.

При виде нас один из них воскликнул со смехом:

– Поглядите-ка, настоящее Святое семейство⁷. Да это находка для моего альбома!

И действительно, он вынул бумагу и карандаш и начал было что-то набрасывать, но старый Пилигрим поднял голову и гневно воскликнул:

– Жалкий насмешник, ты хочешь стать художником, хотя в душе у тебя ни разу не загорался пламень веры и любви; но мертвенны, безжизненны, подобно тебе самому, будут твои произведения; одинокий, отверженный всеми, ты впадешь в отчаяние и погибнешь, сознавая свое ничтожество и пустоту.

Ошеломленные молодые люди кинулись от нас прочь.

А старый Пилигрим сказал моей матери:

– Нынче я привел сюда это дивное дитя, чтобы оно заронило искру любви в душу твоего сына, но сейчас я должен увести его обратно, и ты никогда больше не увидишь ни его, ни меня. Сын твой щедро одарен свыше, но грех отца кипит и бурлит у него в крови; и все же он может возвыситься и стать доблестным борцом за веру. Посвяти его Богу!

Рассказывая об этом, мать моя не могла выразить, сколь глубокое, неизгладимое впечатление оставили у нее в душе слова Пилигрима; и все же она решила не оказывать на меня ни малейшего воздействия, а спокойно ждать исполнения всего, предначертанного мне неотвратимой судьбой; да она и не мечтала о том, чтобы дать мне образование более высокое, чем то, какое я мог получить с ее помощью дома.

Мои подлинные и уже более отчетливые воспоминания начинаются с того дня, когда мать посетила на обратном пути домой монастырь бернардинок⁸, где ее приветливо приняла знавшая моего отца княгиня-аббатиса.

Но промежуток времени от встречи с Пилигримом (которого я все же смутно помню – мать потом лишь дополнила мои впечатления, передавая мне его слова и слова Художника) и до того часа, когда мы с матерью впервые пришли к аббатисе, полностью выпал из моей памяти.

Я обретаю себя вновь в тот день, когда мать, как уж сумела, починила и привела в порядок мое платье. Она накупила в городе новых лент, подровняла мои буйно отросшие волосы и, старательно принарядив, внушила мне, чтобы я вел себя у госпожи аббатисы скромно и благонаравно. И вот наконец, ведя меня за руку, она поднялась со мной по широкой мраморной лестнице, и мы вошли в украшенный картинами священного содержания высокий сводчатый

⁷ *Святое семейство* – евангельская чета Иосиф и Мария с младенцем Иисусом Христом, излюбленный сюжет в живописи эпохи Ренессанса и барокко.

⁸ *монастырь бернардинок* – точнее «цистерцианок», находился возле деревни Эбрах между городами Вюрцбургом и Бамбергом. Величественная церковь этого монастыря, построенная в готическо-византийском стиле, имела двадцать пять алтарей с иконами кисти Микеланджело, Луки Лейденского и других великих художников; особым великолепием отличался придел св. Бернарда, покровителя монастыря. Монашеский орден цистерцианок был основан в 1120 г. и назван так по имени монастыря Цистерциум (близ города Дижона во Франции), где аббатом был св. Бернارد из Клерво.

зал, где нас ждала княгиня. Это была высокого роста величавая женщина в монашеском одеянии; оно придавало ей особенное достоинство, и на нее невольно взирали с благоговением. Она устремила на меня строгий, до глубины души проникающий взгляд и спросила у матери:

– Это ваш сын?..

И голос, и облик ее, и необычная обстановка – высокий зал, картины – все это так подействовало на меня, что я горько заплакал, затрепетав от какого-то безотчетного страха. Тогда княгиня, глядя на меня все ласковее и добрее, спросила:

– Что с тобою, малютка, уж не боишься ли ты меня?.. Как зовут вашего сына, милая?

– Франц, – ответила мать.

– Франциск! – воскликнула княгиня с глубокой скорбью, потом подняла меня и горячо прижала к себе; тут я почувствовал, как что-то больно кольнуло мне шею, и пронзительно вскрикнул. Испуганная княгиня поспешно отпустила меня, а пораженная мать кинулась ко мне и хотела тотчас же меня увести. Но княгиня удержала нас; оказывается, алмазный крест у нее на груди так глубоко врезался мне в шею, когда княгиня порывисто меня обняла, что пораненное место покраснело и из него стала сочиться кровь.

– Бедняжка Франц, – сказала аббатиса, – я сделала тебе больно, но все же мы будем добрыми друзьями.

Одна из сестер принесла печенья и десертного вина; я осмелел и, не заставляя себя долго просить, начал усердно лакомиться сластями; усевшись и взяв меня на колени, княгиня с нежностью клала их мне в рот. А когда я впервые в жизни пригубил сладкого напитка, то ко мне возвратились и хорошее настроение, и та особенная живость, которою, как говорила мать, я отличался с самого раннего детства. К величайшему удовольствию аббатисы и сестры, оставшейся с нами в зале, я без умолку смеялся и болтал.

Мне до сих пор непонятно, отчего моя мать вдруг попросила меня рассказать княгине, сколь много прекрасного и замечательного увидели мы и слышали там, где я родился; тут я, словно по наитию свыше, стал живо описывать чудные картины неведомого иноземного Художника, как будто уже тогда постиг их глубочайший смысл. Я вдавался в такие подробности преславных житий святых, точно уже вполне освоился со всей церковной письменностью. Не только княгиня, но даже и мать смотрела на меня с изумлением; я же, чем дольше говорил, тем более воодушевлялся, и, когда, наконец, княгиня спросила меня: «Милое дитя, скажи, откуда ты все это узнал?» – я, ни на мгновение не задумываясь, ответил, что дивно прекрасный мальчик, которого однажды привел к нам неведомый Пилигрим, не только объяснил мне значение всех икон, какие были в церкви, но даже сам выложил из цветных камешков несколько фигур; он рассказал мне и много других преданий.

Заблаговестили к вечерне, сестра собрала печенье и отдала сверток мне. Я с удовольствием взял его. Аббатиса поднялась и сказала моей матери:

– Отныне, моя милая, я считаю вашего сына своим воспитанником и буду заботиться о нем.

От скорбного волнения мать не могла вымолвить ни слова и, вся в слезах, стала целовать княгине руки.

Мы были уже у порога, когда княгиня догнала нас; она снова взяла меня на руки и, заботливо отодвинув крест, прижала к себе, горько плача, – горячие капли оросили мне лоб.

– Франциск!.. – воскликнула она. – Будь же всегда добр и благочестив!..

Я был глубоко взволнован и тоже заплакал, сам не зная почему.

Благодаря поддержке аббатисы скромное хозяйство моей матери, поселившейся на маленькой мызе неподалеку от монастыря, заметно поправилось. Нужде пришел конец, мать прилично одевала меня, и я учился у священника, которому стал прислуживать в монастырской церкви.

Словно благодные грезы, встают в душе моей воспоминания о той счастливой отроческой поре!.. Ах, отдаленной обетованной землей, где царят радость и ничем не омрачаемое веселье, представляется мне моя далекая-далекая родина; но стоит мне оглянуться назад, как я вижу зияющую пропасть, навеки отделившую меня от нее. Объятый жгучим томлением, я стремлюсь туда все сильней и сильней, вглядываюсь в лица близких, которые смутно различаю словно в алом мерцании утренней зари, и, сдается мне, слышу их милые голоса. Ах, разве есть на свете такая пропасть, через которую нас не перенесли бы могучие крылья любви? Что для любви пространство, время!.. Разве не обитает она в мыслях? А разве мыслям есть предел? Но из разверстой бездны встают мрачной вереницей привидения и, обступая меня плотней и плотней, смыкаясь тесней и тесней, заслоняют весь кругозор, и настоящее гнетет меня и скывает дух мой, а непостижимое уму томление, наполнявшее душу мою несказанно сладостной скорбью, сменяется мертвящей, неисцелимой мукой!

Священник был сама доброта; ему удалось обуздать мой слишком подвижный ум и так подойти ко мне, что учение стало для меня радостью и я делал быстрые успехи.

Никого я так не любил на свете, как свою мать, но княгиню я почитал за святую, и праздником был для меня день, когда я видел ее. Всякий раз я собирался блеснуть перед нею вновь приобретенными познаниями; но, бывало, едва она войдет и ласково заговорит со мной, как я слов не нахожу и, кажется, все бы смотрел на *нее* одну, все только бы *ее* одну слушал. Каждое слово ее глубоко западало мне в душу, и весь день после встречи с нею я испытывал приподнятое, праздничное настроение, и образ ее сопровождал меня на моих прогулках. Я трепетал от невыразимого волнения, когда, плавно размахивая кадильницей у главного алтаря, потрясенный звуками органа, громовым потоком хлынувшими с хоров, узнавал в торжественном песнопении ее голос, который настигал меня подобно сияющему лучу и наполнял душу мою предчувствием чего-то высокого и светлого.

Но прекраснейшим днем, которого я всею душою ожидал целыми неделями, днем, о котором я не могу думать без восторженного замиранья сердца, был день святого Бернарда⁹; он был покровителем монастыря, и праздник его торжественно ознаменовывался у нас всеобщим отпущением грехов. Уже накануне из соседнего города и всех окрестных сел и деревень сюда стекались потоки людей, располагавшихся на большом цветущем лугу возле самого монастыря; день и ночь не умолкал там гомон радостно взволнованной толпы. Я не помню, чтобы погода в эту благодную пору лета (день святого Бернарда празднуется в августе) когда-либо помешала торжеству. Вот пестрой толпой бредут, распевая псалмы, благочестивые паломники... а далее, шумно веселясь, толпятся деревенские парни и разряженные девушки... Вот монахи и священники стоят в молитвенном восторге, благоговейно сложив руки и устремив очи к небу... А семьи горожан, сидя на траве, разгружают корзины, доверху наполненные всякой снедью, и принимаются за еду. Разудалое пение – и благочестивые гимны; стенания кающихся – и веселый смех; вздохи – и радостные восклицания, ликующие крики; шутки – и мольбы... Все сливалось в воздухе в какую-то поразительную, ошеломляющую симфонию!..

А едва в монастыре заблаговестят, гомон миглом смолкает, и, насколько хватает глаз, люди стоят плотными рядами на коленях, и лишь глухое бормотанье молитв нарушает священную тишину. Но вот замер последний удар колокола, и снова приходит в движение вся эта пестрая толпа, и снова слышится прерванное на минуту ликование.

Сам епископ, чья резиденция находилась в соседнем городе, совершал в день святого Бернарда праздничную литургию в сослужении с местным духовенством, а на возвышении возле главного алтаря, под сенью богатых, редкостных гобеленов, его капелла исполняла духовные концерты.

⁹ ...день святого Бернарда – отмечался 20 августа, в день его кончины.

Поныне живы в душе моей волновавшие меня тогда чувства, и они воскресают во всей своей юной свежести, когда я переношусь воображением в ту блаженную, так быстро пролетевшую пору. Живо припоминаю славословие «Gloria», которое повторялось несколько раз, ибо это песнопение особенно любила княгиня. Когда епископ возглашал: «Gloria» и мощные голоса хора подхватывали: «Gloria in excelsis Deo»¹⁰, то мнилось – небеса разверзаются над алтарем, а изображения херувимов и серафимов каким-то чудом Господним оживают и во всем своем блеске витают в воздухе, помавая могучими крыльями и славя Бога пением и дивною игрою на арфах.

Погружаясь в мечтательное созерцание, в восторженные молитвы, я будто сквозь блистающие облака уносился душой на далекую и столь знакомую мне родину, и слышались мне в благоуханном лесу сладостные голоса ангелов, и дивный мальчик выходил мне навстречу из высоких кустов лилий и спрашивал меня, улыбаясь: «Где ты так долго пропадал, Франциск? У меня столько красивых ярких цветов, и все они станут твоими, только останься при мне и вечно меня люби!»

После литургии монахини совершали крестный ход по монастырским галереям и по церкви; впереди, опираясь на серебряный посох, шествовала увенчанная митрой аббатиса¹¹. Какая святость, какое неземное величие сияли во взоре этой царственной жены, сквозили в каждом ее движении! То было живое олицетворение самой торжествующей церкви, обетование верующим Божией милости и благоволения. Когда взор ее случайно падал на меня, я готов был повергнуться перед нею ниц.

По окончании службы монахини угощали духовенство и епископскую капеллу в большой монастырской трапезной. Здесь же обедали и некоторые друзья монастыря, а также должностные лица и городские купцы; допускался на эти трапезы и я, ибо регент епископа отличал меня своим вниманием и охотно общался со мной. И если душа моя незадолго перед тем благоговейно обращена была к неземному, то теперь меня радостно обступала жизнь с ее пестрыми картинами. Веселые рассказы, шутки и прибаутки, забавные истории сменяли друг друга под громкий смех гостей, усердно опустошавших бутылки, и так продолжалось до самого вечера, когда к монастырю с грохотом начинали подъезжать экипажи.

Но вот мне минуло шестнадцать лет, и священник заявил, что я достаточно подготовлен и могу проходить курс высшего богословия в духовной семинарии соседнего города¹². Я к этому времени уже окончательно решил посвятить свою жизнь служению Богу; мое намерение до глубины души обрадовало мою мать, ибо она узрела в нем осуществление таинственных предвещаний Пилигрима, неким образом связанных со знаменательным видением моего отца, тогда мне еще неизвестным. Она верила, что именно благодаря моему решению душа отца моего очистится и избегнет вечных мук. Княгиня, с которой я мог теперь видеться только в приемной монастыря, тоже весьма одобрила мой выбор; она вновь подтвердила свое обещание поддерживать меня до той поры, когда я достигну духовного сана.

Монастырь находился так близко от города, что оттуда были видны городские башни и усердные ходоки из горожан избирали для своих прогулок его прелестные, живописные окрестности; но все же мне было тяжело расставаться с моей доброй матерью, с величавой аббатисой, которую я так глубоко почитал, и с добрым моим наставником. Как известно, разлука с близкими сердцу бывает порой столь мучительна, что и ничтожное расстояние кажется бесконечным!

¹⁰ «Слава в вышних Богу!» (лат.)

¹¹ ...опираясь на серебряный посох, шествовала увенчанная митрой аббатиса... *Серебряный посох* – епископская регалия, знак папского достоинства епископа, а также аббата и аббатисы княжеского происхождения. *Митра* у католиков обычно головной убор (инфула) епископа во время церковных служб; только в виде исключения папа римский инфулировал некоторых аббатов и настоятелей церквей.

¹² ...в духовной семинарии соседнего города – духовная семинария Бамберга была основана в 1585 г.

Княгиня была чрезвычайно взволнована, и голос у нее дрожал от скорби, когда она напутствовала меня благочестивыми наставлениями. Она подарила мне красивые четки и карманный молитвенник с изящно исполненными миниатюрами. Кроме того, она дала мне письмо к приору городского монастыря капуцинов, поручая меня его благоволению; она настаивала, чтобы я поскорее побывал у него, ибо он всегда окажет мне помощь и делом, и добрым советом.

Трудно отыскать местность живописнее той, где расположен пригородный монастырь капуцинов. Я находил все новые и новые красоты в великолепном монастырском саду с видом на горы, когда, гуляя по длинным аллеям, останавливался то у одной, то у другой роскошной купы деревьев.

В этом саду я и повстречал приора Леонарда, придя впервые в обитель с письмом аббатисы, просившей для меня его внимания и заступничества.

И без того приветливого нрава, приор стал чрезвычайно любезен, когда прочитал письмо, и сказал столько хорошего о замечательной женщине, с которой еще в молодости познакомился в Риме, что уже одним этим привлек меня к себе.

Братия окружала его, и так легко было понять их взаимные отношения, образ жизни в монастыре и весь монастырский уклад: покой и веселие духа, излучаемые приором, передавались всей братии. Не было здесь и тени уныния или той иссушающей душу отрешенности, которые так часто отражаются на лицах монахов. Устав ордена был строг, но приор Леонард почитал молитву скорее потребностью духа, взыскующего горнего мира, чем проявлением аскетического покаяния за первородный грех; он умел пробудить в братьях это понимание смысла молитвы, и все, что им надлежало совершать для соблюдения устава, было исполнено жизнерадостности и добросердечия, которые вносили проблески высшего бытия в земную юдоль.

Приор Леонард старался даже установить в допустимых пределах общение с внешним миром, – для братии оно могло быть только благотворным. Щедрый приток вкладов во всеми почитаемый монастырь позволял время от времени угощать в трапезной монастыря его друзей и покровителей. В таких случаях посредине залы для них накрывался длинный стол, на верхнем конце которого восседал приор. Братия сидела за узкими, придвинутыми к стенам столами и довольствовалась по уставу простой глиняной посудой, меж тем как стол гостей был изысканно сервирован хрусталем и тонким фарфором. Монастырский повар превосходно готовил лакомые постные блюда, очень нравившиеся прихожанам. Вино доставляли гости, и таким-то образом происходили в монастыре приятные дружеские встречи светских лиц с духовными, далеко не бесполезные для обеих сторон. Ведь когда миряне, отвлекаясь от суетных тревожений, оказывались в монастырских стенах, где все возвещало им о жизни, прямо противоположной их собственной, то какая-то искра западала им в душу и они должны были согласиться, что и на этом чуждом им пути возможны покой и счастье и что, быть может, чем выше дух воспарит над всем земным, тем верней он уготовит человеку еще в этом мире более высокий образ бытия. С другой стороны, монахи обретали более широкий кругозор и житейскую мудрость, получая представление о пестром разнообразии мира за монастырскими стенами, а это наводило их на всевозможные размышления. Не придавая мнимой ценности земному, они вынуждены были признать, что многообразные, возникшие в силу внутренней необходимости формы человеческого существования озарены радужным отблеском духовного света, без чего все вокруг стало бы тусклым и бесцветным.

Выше всех по духовному и светскому образованию издавна почитался отец Леонард. Он прослыл выдающимся богословом, искусно и глубоко трактовал труднейшие вопросы, и даже профессора духовной семинарии нередко пользовались его советами и поучениями; вдобавок, более чем это возможно ожидать от монаха, он был и светски образованным человеком. Он свободно и изящно говорил по-итальянски и по-французски, был обходителен с людьми, и потому на него в былое время возлагали важные миссии. Когда я с ним познакомился, он был уже в преклонном возрасте; белизна волос выдавала его годы, но в глазах еще сверкал огонек

молодости, а приветливая усмешка, блуждавшая у него на устах, усиливала общее впечатление уравновешенности и покоя. Изящество, каким отличалась его речь, было свойственно также его походке и жестам, и даже обычно мешковатое монашеское одеяние отлично прилегалось к его статной фигуре. Не было среди братии ни одного монаха, который не поступил бы в монастырь по собственной воле, испытывая в этом глубокую духовную потребность; но и того злосчастного, который постучался бы во врата обители, надеясь тут спастись от окончательной гибели, приор Леонард вскоре утешил бы: после краткого покаяния этот брат обрел бы покой; примирившись с миром и отвратясь от его суеты, он, еще в земной жизни, вскоре возвысился бы над земным. Этот необычайный для монастырей жизненный уклад Леонард усвоил в Италии, где и церковный культ, и все понимание религиозной жизни несравненно радостнее, чем в католической Германии. Как в архитектуре храмов Италии проступают античные формы, так мистический сумрак христианства пронизывается там могучим лучом, долетевшим к нам из радостных, животворных времен античности и осиявшим веру нашу тем пречудным блеском, который некогда озарял героев и богов.

Леонард меня полюбил и стал обучать итальянскому и французскому языкам, но для моего развития были особенно полезны книги, которые он постоянно давал мне, а также его беседы. Почти все свободное от семинарских занятий время я проводил в монастыре капуцинов, чувствуя, как во мне непреодолимо крепнет влечение к монашеской жизни. Я открыл приору свое желание; не пытаясь отговорить меня, он посоветовал мне года два подождать, а тем временем хорошенько присмотреться к жизни мирян. Но хотя я уже завел кое-какие знакомства – главным образом при посредстве епископского регента, преподававшего мне музыку, – в любом обществе, особенно в женском, мне было не по себе, и, кажется, именно это, наряду со склонностью к созерцанию, окончательно определило мое призвание к монашеству.

Однажды приор рассказал мне много примечательного о мирской жизни; он затрагивал самые деликатные темы, но говорил со свойственным ему изяществом и гибкостью выражений и, избегая всего непристойного, умел коснуться самой сути. Наконец он взял меня за руку, испытующе взглянул мне в глаза и спросил, сохранил ли я еще свою чистоту.

Я вспыхнул от щекотливого вопроса Леонарда, ибо предо мной во всей живости красок предстала уже совершенно забытая картина.

У регента была сестра, ее никто не назвал бы красавицей, но это была цветущая и чрезвычайно привлекательная девушка. Фигура ее отличалась безукоризненной соразмерностью; у нее были прекраснейшие руки и на редкость хорошо сформированный бюст ослепительной белизны.

Как-то раз, придя к регенту на урок, я застал его сестру в легком утреннем одеянии; грудь у нее была почти обнажена, и, хотя девушка мгновенно набросила на плечи платок, алчный взор мой успел уловить чересчур много; я онемел, неведомые доселе чувства бурно заклокотали во мне, разгоряченная кровь стремительно понеслась по жилам, я слышал биение своего пульса. Грудь у меня судорожно сдавило, казалось, она вот-вот разорвется, но наконец-то я с легким стоном смог перевести дыхание. Волнение мое только усилилось, когда девушка подошла ко мне, взяла меня за руку и простодушно спросила, что со мной. Счастье еще, что в комнату вошел регент и положил конец моим мукам.

В тот день я как никогда сбивался в пении, фальшивил в музыке. Но я отличался таким благочестием, что принял все происшедшее за дьявольское наваждение, и был счастлив, когда в скором времени постом и покаянием заставил отступить Врага. А теперь, после коварного вопроса приора, я как живую видел перед собой сестру регента с соблазнительно открытой грудью, чувствовал тепло ее дыхания, пожатие руки – и тревога моя с каждым мигом возрастала.

Леонард посмотрел на меня с какой-то насмешливой улыбкой, я весь затрепетал. Не в силах вынести его взгляда, я опустил глаза; тогда приор потрепал меня по разгоряченным щекам и сказал:

– Вижу, сын мой, что ты меня понял и с этим у тебя пока все благополучно, – Господь да хранит тебя от мирских соблазнов. Наслаждения, коими мир прельщает нас, весьма кратковременны, и, можно сказать, над ними тяготеет проклятие, ибо следствием их неизбежно бывает неопишное отвращение к жизни, полный упадок сил, тупое равнодушие ко всему высокому: они заглушают лучшее в человеке – его благородное духовное начало.

Сколь я ни старался забыть вопрос приора и картину, что так живо встала перед моими глазами, это мне никак не удавалось; и если до тех пор я уже мог непринужденно вести себя в присутствии столь смутившей меня девушки, то теперь я снова робел, встречаясь с нею, и даже при одной мысли о ней меня охватывала какая-то внутренняя скованность и тревожная тоска, представлявшаяся мне тем опасней, что тотчас же мной овладевало удивительное, еще никогда не испытанное томление, пробуждавшее неясные и, как я угадывал, греховные желания. Однажды вечером этому нерешительному состоянию моего духа пришел конец.

Регент пригласил меня, как это бывало уже не раз, на домашний концерт, – он их устраивал вместе со своими друзьями. Кроме его сестры было еще несколько женщин, и это усиливало мое смущение, ведь ее одной было достаточно, чтобы у меня перехватило дыхание. Она была очень мило одета и никогда еще не казалась такой прелестной; какая-то неведомая сила непреодолимо влекла меня к ней, и я, сам того не замечая, держался к ней поближе и алчно ловил каждый ее взгляд, каждое слово; я тянулся к ней, стараясь будто мимоходом коснуться хотя бы ее платья, и это наполняло меня тайным, дотоле еще неизведанным восторгом. Казалось, она это заметила, и это не было ей неприятно; порой меня охватывало такое любовное исступление, что я готов был броситься к ней и пылко прижать ее к груди!

Долго сидела она возле клавикордов, а когда наконец отошла, я схватил со стула забытую ею перчатку и в безумном порыве прижал ее к устам!.. Это увидела другая девушка и, подойдя к ней, что-то шепнула ей на ухо; обе посмотрели на меня, захихикали, а потом язвительно расхохотались. Я был вконец уничтожен, ледяная дрожь потрясла меня с ног до головы, и я без памяти кинулся прочь, в мою семинарскую келейку. Там, в диком отчаянии, бросился я на пол... жгучие слезы лились у меня из глаз... я проклинал и эту девушку... и самого себя... и то молился, то хохотал как безумный! Мне чудились вокруг насмешливые, глумливые голоса; я выбросился бы из окна, да, к счастью, на нем была железная решетка, мое душевное состояние было ужасно. Только под утро я немного успокоился; но я бесповоротно решил никогда не искать встречи с нею и вообще отречься от мира. Громче прежнего заговорило во мне призвание к уединенной монастырской жизни, и никакой соблазн уже не мог отвлечь меня от этого пути.

После обычных семинарских занятий я поспешил в монастырь капуцинов и высказал приору свою решимость начать послушничество, прибавив, что уже известил об этом и мать и княгиню. Казалось, мое неожиданное рвение удивило Леонарда; не проявляя навязчивости, он на все лады пытался выведать у меня, почему я настаиваю на немедленном посвящении, ибо он отлично понимал, что какое-то из ряда вон выходящее событие толкнуло меня на этот шаг. Непреодолимый стыд не позволил мне открыть ему всю правду; напротив, я рассказал ему, пылая огнем экзальтации, о чудесных событиях моего детства, столь явно предопределивших мое призвание к монашеской жизни. Леонард спокойно выслушал меня и, не подвергая сомнению мои видения, кажется, довольно равнодушно принял их; более того, он прямо сказал, что все это слишком мало говорит о подлинности моего призвания, что тут возможен самообман.

Вообще Леонард неохотно говорил о видениях святых и даже о чудесах первых провозвестников христианства, и я, поддаваясь искушению, временами подозревал его в тайных сомнениях. Чтобы вызвать его на откровенность, я как-то дерзнул заговорить о хулителях католической религии; особенно порицал я тех, кто с ребяческим задором клеймит веру в сверхчувственное нечестивым словом «суеверие». Леонард ответил на это с кроткой улыбкой: «Сын мой, неверие – это худшее из суеверий» – и перевел разговор на другие, маловажные темы.

Лишь значительно позднее приобщился я к его вдохновенным мыслям о сокровенной стороне нашей религии, например о таинственной связи свойственного человеку духовного начала с Высшим существом, и пришел к убеждению, что Леонард правильно поступал, приберегая самые заветные, излившиеся из глубины верующей души высказывания лишь для своих удостоившихся как бы высшего посвящения учеников.

Мать написала мне о своем давнишнем предчувствии, что меня не удовлетворит положение духовного лица в миру и я предпочту жизнь в монастыре. В день святого Медарда¹³ она явственно видела старого Пилигрима, являвшегося нам в монастыре Святой Липы: он вел меня за руку, а я был в облачении ордена капуцинов. Княгиня тоже одобрила мое намерение. Я повидался с обеими перед моим постригом; он состоялся в непродолжительном времени, ибо мне сократили наполовину срок послушничества, идя навстречу моему задушевному желанию. Видение матери побудило меня принять монашеское имя Медарда.

Взаимоотношения монахов, распорядок молитв и служб, весь образ жизни в монастыре были такими же, какими они показались мне с первого взгляда. Царивший здесь благодатный мир принес и моей душе тот неземной покой, который витал вокруг меня в годы моего раннего, овеванного блаженными грезами детства в обители Святой Липы. Во время торжественного обряда облачения увидел я среди зрителей сестру регента; она казалась опечаленной, мне почудились слезы у нее на глазах. Но пора искушения миновала, и, быть может, греховная гордость так легко одержанной победой вызвала у меня улыбку, которую приметил шествовавший рядом со мною брат Кирилл.

– Чему ты так радуешься, брат мой? – спросил Кирилл.

– Как же мне не радоваться, – ответил я, – когда я отрекаюсь от этого жалкого мира, от суеты сует?

Не скрою, что едва я произнес эти слова, как был наказан за свою ложь: я вздрогнул от пронизавшего меня зловещего предчувствия.

Но то был последний приступ земного себялюбия, а затем наступил некий благодатный покой духа. О, если бы он никогда не покидал меня! Но велико могущество Врага!.. Кто может полагаться на свою твердость, на бдительность свою, если нас повсюду подстерегают силы преисподней?

Я прожил в монастыре пять лет, когда по приказанию приора уже старый и немощный брат Кирилл, который у нас был смотрителем богатого собрания реликвий, передал мне наблюдение за ними. Были там кости святых, частицы креста Господня и другие святыни – они хранились в опрятного вида застекленных шкафах и по праздникам выставлялись в назидание народу. Брат Кирилл знакомил меня с каждым предметом, а также с бумагами, подтверждавшими его подлинность и содеянные им чудеса. По своему духовному развитию он стоял ближе всех к нашему приору, и я не колеблясь поделился с ним обуревавшими меня сомнениями.

– Неужели, дорогой мой брат Кирилл, – сказал я, – все, что перед нами, – это подлинные святыни? Быть может, алчные и бесчестные люди обманули нас, выдавая это за священные реликвии? Существует же монастырь, обладающий честным животворящим крестом Спасителя нашего, а повсюду показывают такое количество кусков древа Господня, что кто-то из наших братьев, конечно, кощунственно насмехаясь, утверждал, будто ими можно было бы весь год отапливать нашу обитель.

– Разумеется, – возразил брат Кирилл, – не подобает нам подвергать сомнению эти святыни, но, откровенно говоря, и я полагаю, что, невзирая на свидетельства, лишь немногие из них представляют собой *именно то*, за что их выдают. Только, думаю мне, дело совсем в

¹³ День *святого Медарда* – память св. Медарда, епископа Нуайона и Турнэ (ок. 456–545), празднуется католиками 8 июня. Согласно легенде, он еще подростком обнаружил склонность к благочестивой созерцательной жизни. Это сходство с юностью героя служит дополнительной мотивировкой выбора имени.

другом. Постарайся уразуметь, как мы с приором смотрим на это, и ты, милый брат Медард, узришь религию нашу во всем ее блеске. Разве не прекрасно, милый брат Медард, что святая церковь наша стремится уловить таинственные нити, связующие чувственный и сверхчувственный миры? Она пробуждает в человеке, в котором все приноровлено к земному бытию, мысль о его происхождении от высшего духовного начала, о его глубоком внутреннем родстве с тем пречудным существом, чья сила, подобно пламенному дыханию, проникает всю природу и, будто крыльями серафимов, овеивает нас предчувствием высшей жизни, зерно которой она в нас заронила. Что такое эта частица древа Господня... косточка... этот лоскуток? Говорят, вот это – от честного креста, а тот – от останков святого, от его одежды. Но кто верует от всего сердца, не мудрствуя лукаво, тот преисполняется неземного восторга и ему отверзаются врата в горнее царство блаженства, которое здесь, в мире дольном, он мог лишь прозревать; так, при воздействии даже мнимых реликвий в человеке возгорается духовная сила того или другого святого, и верующий почерпает крепость и мощь от Высшего существа, к которому он всем сердцем воззвал о помощи и утешении. Эта воспрянувшая в нем высшая духовная сила превозмогает даже тяжкие телесные недуги, вот почему эти реликвии творят чудеса, чего никак нельзя отрицать, ибо нередко они совершаются на глазах у целой толпы народа.

Мгновенно мне пришли на память некоторые намеки приора, подтверждавшие слова брата Кирилла, и я уже с чувством искреннего благоговения рассматривал реликвии, с которыми прежде в моем представлении было связано столько недостойных проделок. От брата Кирилла не ускользнуло впечатление, произведенное его речами, и он продолжал с еще большим рвением проникновенно рассказывать о каждой из доверенных ему святынь. Наконец он вынул из надежно запиравшегося шкафа ларец и сказал:

– Здесь, дорогой мой брат Медард, содержится самая удивительная и самая таинственная из всех достопримечательностей нашего монастыря. За все время моего пребывания в обители только я да приор держали в руках этот ларец; о его существовании не подозревают ни братья, ни посторонние лица. Всякий раз я прикасаюсь к нему с душевным трепетом, словно в нем заключены злые чары, скованные и лишённые силы могучим заклятием, – но если они обретут свободу, то навлекут погибель и вечное осуждение на человека, коего они настигнут!.. Знай же, что содержимое этой шкатулки принадлежало самому Врагу-искусителю в те времена, когда он еще мог в зримом образе противоборствовать спасению человеческих душ.

В крайнем изумлении смотрел я на брата Кирилла, а он, не давая мне времени вставить хоть слово, продолжал:

– Я ни за что не стану, милый брат мой Медард, высказывать свое мнение о столь высокомистическом предмете... и не буду излагать домыслы, какие порой приходят мне в голову... а лучше всего как можно точнее передам тебе все, что говорится в бумагах об этой достопримечательности. Они хранятся в этом шкафу, и ты впоследствии прочтешь их сам.

Тебе достаточно хорошо известно житие святого Антония¹⁴, и ты знаешь, как он, дабы отвратиться от всего земного и устремиться всею душою к божественному, удалился в пустыню и там проводил жизнь свою в строжайшем посте и покаянных молитвах. Но Враг преследовал его и не раз появлялся перед ним в зримом облике, чтобы смутить его среди благочестивых размышлений. И вот однажды святой Антоний заметил в вечерних сумерках какое-то мрачное существо, направлявшееся к нему. И как же удивился он, когда, взглянув на путника, увидел, что сквозь дыры его изношенного плаща лукаво выглядывают горлышки бутылок. Оказалось, что перед ним в этом причудливом наряде предстал сам Враг и, глумливо усмехаясь, спросил, не пожелает ли он отведать эликсиров, хранящихся в этих бутылках. Это предложение отнюдь

¹⁴ ...житие святого Антония – св. Антоний (251–356) – отшельник Фиваидской пустыни, прозванный Великим. Легенда, рассказанная патером Кириллом, заимствована из жития другого святого – Макария Александрийского и перенесена Гофманом на египетского пустынника. Испытания св. Антония – сюжет, широко трактовавшийся в литературе и изобразительном искусстве (наиболее известное литературное воплощение – роман Г. Флобера «Испытание святого Антония», 1874).

не рассердило святого Антония, ибо Враг давно утратил над ним всякую власть и силу и ограничивался лишь насмешливыми речами, даже не пытаясь вступать с ним в борьбу; пустынный только спросил его, почему он таскает с собой столько бутылок, да еще таким странным способом. И Нечистый ответил так: «Видишь ли, стоит кому-либо повстречаться со мной, как он посмотрит на меня с изумлением и уж конечно не преминет спросить, что это у меня там за напитки, а потом из алчности начнет поочередно пробовать их. Среди стольких эликсиров непременно найдется такой, что окажется ему по вкусу, и глядишь – он уже вылакал всю бутылку и, опьянев, отдается во власть мне и всей преисподней».

Так об этом повествуется во всех легендах. Но в хранящейся у нас бумаге об этом видении святого Антония добавлено, что Нечистый, уходя, оставил в траве несколько бутылок, а святой Антоний поспешно подобрал их и припрятал в своей пещере, опасаясь, что заблудившийся в пустыне путник или, чего доброго, кто-нибудь из его учеников хлебнет пагубного напитка и тем обречет себя на вечную погибель. Даже сам святой Антоний, как говорится далее в бумаге, однажды нечаянно раскупорил одну из бутылок, и оттуда ударили такие одуряющие пары и такие чудовищные видения ада разом обступили святого, такие зареяли вокруг него соблазнительные призраки, что только молитвами и суровым постом он мало-помалу их отогнал. В ларце как раз и хранится попавшая к нам из наследия святого Антония бутылка с эликсиром сатаны; относящиеся к ней бумаги отличаются строго обоснованной, бесспорной подлинностью, и во всяком случае едва ли приходится сомневаться в том, что бутылка эта после кончины святого Антония была действительно найдена среди его вещей. Впрочем, – я и сам могу тебя в том заверить, дорогой брат Медард, – стоит мне прикоснуться к этой бутылке или даже к ларцу, в котором она хранится, как меня охватывает неизъяснимая жуть; мне чудится странный запах, он одурманивает меня и вызывает такое смятение, что оно не рассеивается даже при совершении душеспасительных послушаний. Но с помощью неотступных молитв я преодолеваю греховное состояние духа, какое, очевидно, вызывают некие враждебные человеку силы, хотя я и не верю в то, что здесь непосредственно действует сам дьявол.

Ты еще очень молод, дорогой брат Медард, и твое воображение может под враждебным влиянием разгореться слишком живо и ярко; да, ты мужественный и бодрый духом, но неопытный и, быть может, даже слишком отважный и самонадеянный воин, готовый всечасно ринуться в бой; вот почему советую тебе никогда не открывать этот ларчик, разве что спустя годы и годы; а чтобы любопытство не одолевало тебя, убери ты его подальше.

Брат Кирилл водворил загадочную шкатулку на прежнее место и передал мне связку ключей, в которой был и ключ от шкафа, где она хранилась. Странное впечатление произвел на меня его рассказ, но, чем сильнее донимал меня соблазн взглянуть на редкостную достопримечательность, тем тверже старался я не поддаваться ему, памятуя предостережения брата Кирилла. Когда Кирилл ушел, я еще раз окинул взглядом доверенные мне реликвии, нашел в связке ключик от рокового шкафа и запрятал его подальше, под бумаги в моей конторке...

Один из профессоров семинарии был превосходный оратор, и всякий раз, когда он проповедовал, церковь была переполнена; всех неудержимо увлекал поток его огненного красноречия, зажигавший в сердцах пламень искренней веры. Его исполненные красоты вдохновенные поучения глубоко западали и мне в душу; я считал счастливецом столь даровитого оратора, и вот я смутно почувствовал, что во мне все более и более крепнет стремление уподобиться ему. Наслушавшись его, я и сам, бывало, пробовал силы в своей одинокой келейке, целиком отдаваясь вдохновению, и мне удавалось порой удерживать в памяти свои мысли и слова, а затем набрасывать их на бумагу.

Тем временем проповедовавший у нас в монастыре брат заметно дряхлел, речь его текла вяло и беззвучно, как иссякающий ручей, а чувства и мысли у него так оскудели, что проповеди, которые он произносил без подготовленного заранее наброска, становились нестерпимо длинными, и задолго до их конца почти все прихожане тихонько засыпали, словно под

мерное постукивание мельничных жерновов, и лишь могучие звуки органа под конец пробуждали их. Приор Леонард, хотя и был прекрасным оратором, однако в свои преклонные годы он не решался читать проповеди из боязни чрезмерного волнения, так что заменить дряхлеющего брата было решительно нечем. Леонард иногда заговаривал со мной об этом прискорбном положении, из-за которого у нас в церкви становилось все меньше прихожан. Собравшись с духом, я однажды сказал ему, что еще в семинарии почувствовал склонность к проповедованию слова Божия и даже написал несколько духовных бесед. Он потребовал их у меня на просмотр и остался так ими доволен, что настойчиво советовал мне в виде опыта выступить с проповедью в ближайший же праздник; он нисколько не опасался неудачи, ибо природа одарила меня всем необходимым для хорошего проповедника, а именно: располагающей внешностью, выразительным лицом и, наконец, сильным и звучным голосом. Что же касается умения держаться на кафедре и подобающих жестов, то этому взялся меня обучить он сам. Наконец подошел праздник, церковь наполнилась прихожанами, и я не без трепета поднялся на кафедру.

Вначале я придерживался написанного, и Леонард рассказывал мне потом, что я говорил с дрожью в голосе, но это вполне соответствовало тем благоговейным и скорбным размышлениям, какими начиналось мое слово, и было воспринято большинством как чрезвычайно действенный прием ораторского искусства проповедника. Но вскоре словно искра неземного восторга вспыхнула у меня в душе, я и думать позабыл о своем наброске, всецело отдавшись внезапному наитию. Кровь пылала и клочкотала у меня в жилах, я слышал громовые раскаты моего голоса под самым куполом храма, и мне чудилось, что огонь вдохновения озаряет чело мое и широко распростертые руки.

Все, что возвестил я собравшимся святого и величественного, я словно в пламенном фокусе собрал воедино в самом конце этой проповеди, и она произвела небывалое, ни с чем не сравнимое впечатление. Рыдания... возгласы благоговейного восторга, непроизвольно срывавшиеся с уст... громкие молитвы сопровождали мои слова. Братья выразили мне свое величайшее восхищение, Леонард обнял меня и назвал светочем монастыря.

Слава обо мне быстро разнеслась; чтобы послушать брата Медарда, наиболее видные и образованные горожане за целый час до благовеста уже толпились в не очень-то просторной монастырской церкви. Всеобщее восхищение побуждало меня отделять мои проповеди, так чтобы они отличались не только жаром, но изящной округленностью фраз и искусством построения. Я все более увлекал своих слушателей, и уважение их ко мне, столь разительно проявляемое повсюду и возраставшее день ото дня, стало уже граничить с почитанием святого. Какой-то неудержимый религиозный экстаз охватил весь город¹⁵, под любым предлогом не только по праздникам, но и в будни все устремлялись в монастырь, дабы увидеть брата Медарда и поговорить с ним.

И вот постепенно стала созреть у меня мысль, что я – отмеченный особой печатью избранник Божий: таинственные обстоятельства моего рождения в святой обители ради искупления греха моего преступного отца, чудесные события моего раннего детства – все указывало на то, что дух мой, находясь в непосредственном общении с небесами, еще в этой юдоли возносится над всем земным и я не принадлежу ни миру, ни людям, ради спасения и утешения коих совершаю свое земное поприще. Теперь я был уверен, что старый Пилигрим, который нам являлся в Святой Липе, это – святой Иосиф, а необыкновенный мальчик – сам младенец Иисус,

¹⁵ *Какой-то неудержимый религиозный экстаз охватил весь город...* – мотив, по-видимому, подсказанный Гофману его непосредственным сюжетным источником – романом Льюиса «Монах» (см. примеч. к с. 196), а также жизнеописанием знаменитого флорентийского проповедника Джироламо Савонаролы (1452–1498). Ср. дневник Гофмана 2 октября 1803 г.: «С моими музыкальными идеями дело обстоит так же, как с провидениями флорентийского мученика Савонаролы, историю которого я читаю в эти дни». Кроме этих литературных источников, возможно, здесь получил отражение и факт современной действительности – огромный успех, которым пользовались в Вене проповеди немецкого драматурга-романтика Захарии Вернера, незадолго до того перешедшего в католичество.

приветствовавший во мне святого¹⁶, коему свыше предначертано скитаться по земле. Но чем глубже укоренялись у меня в душе эти представления, тем тягостней, тем обременительней становилась для меня среда, в которой я жил. Не осталось и следа прежнего покоя и безоблачной ясности духа, а добросердечные слова братьев и приветливость приора возбуждали во мне лишь неприязнь и гнев. Им следовало бы признать во мне *святого*, высоко вознесенного над ними, повергнуться ниц предо мной и умолять о предстоянии за них перед Богом. А раз этого не было, то я в душе обвинил их в греховной закоснелости. Даже в свои назидательные речи вплетал я порою намеки на то, что, подобно лучисто-алой заре на востоке, уже забрезжили над землей исполненные чудес времена и некий избранник Божий грядет во имя Господне, неся верующим надежду и спасение. Свой воображаемый удел я облекал в мистические образы, которые тем сильнее воздействовали на толпу своим причудливым очарованием, чем менее она их понимала. Леонард становился ко мне заметно холоднее, он уклонялся от разговоров со мной без свидетелей, но однажды, когда мы с ним случайно оказались с глазу на глаз в аллее монастырского сада, он не выдержал:

– Не скрою, дорогой брат Медард, что с некоторых пор все твое поведение внушает мне тревогу. В душу твою проникло нечто такое, что отвращает тебя от жизни, исполненной благочестия и простоты. В речах твоих царит некий зловещий мрак, из коего пока еще робко проступает угроза полного отчуждения между нами... Позволь, я выскажусь откровенно!.. На тебе сейчас особенно заметны последствия первородного греха; ведь с каждым порывом наших духовных сил ввысь пред нами разверзается пропасть, куда при безрассудном полете нас так легко низвергнуть!.. Тебя ослепило одобрение, нет – граничащий с идолопоклонством восторг легкомысленной, падкой на любые соблазны толпы, ты видишь самого себя в образе, вовсе тебе не свойственном, и этот мираж воображения завлекает тебя в бездну погибели. Загляни поглубже в свою душу, Медард!.. Отрекись от обольщения, помрачающего твой рассудок... Сдается мне, я угадываю, каково оно!.. Ты уже утратил тот душевный покой, без коего нет на земле спасения... Берегись, лукавый опутал тебя сетями, постарайся же выскользнуть из них!.. И стань снова тем чистосердечным юношей, которого я всею душою любил.

Тут слезы навернулись на глазах у приора; он схватил мою руку, однако тотчас отпустил ее и быстро ушел, не дожидаясь ответа.

Но я неприязненно отнесся к его словам: он упомянул о похвалах, о безграничном восхищении, а ведь я их заслужил своими необыкновенными дарованиями, и ясно стало мне, что его досада была плодом низменной зависти, которую он и высказал столь открыто! Молчаливый и замкнутый, снедаемый затаенным озлоблением, сидел я теперь на собраниях общины монахов; целые дни и бессонные ночи напролет я обдумывал, поглощенный новизною того, что открылось мне, в какие пышные слова облеку созревшие у меня в душе назидания и как поведаю их народу. И чем более отдалялся я от Леонарда и братии, тем искуснее притягивал к себе толпу.

В день святого Антония¹⁷ церковь была донельзя переполнена, и пришлось настезь распахнуть двери, дабы все подходивший и подходивший народ мог хотя бы с паперти уловить что-либо из моих слов. Никогда еще я не говорил сильнее, пламеннее, проникновеннее. Я коснулся, как это принято, наиболее существенного из жития святого и затем перешел к тесно связанным с человеческой жизнью размышлениям. Я говорил об искушениях лукавого, получившего после грехопадения власть соблазнять людей, и проповедь моя как-то незаметно подвела меня к легенде об эликсирах, которую я истолковал как иносказание, исполненное глубокого смысла. Тут мой блуждающий по церкви взгляд упал на высокого худощавого человека;

¹⁶ ...сам младенец Иисус, приветствовавший во мне святого... – явление младенца Иисуса Христа будущему подвижнику – постоянный мотив житий святых (например, жития св. Бернарда, Антония Падуанского и др.).

¹⁷ В день св. Антония – 17 января.

прислонясь к колонне, он стоял наискосок от меня возле скамьи. На нем был необычно, на чужеземный лад, накиннутый темно-фиолетовый плащ, под которым обрисовывались скрещенные на груди руки. У него было мертвенно-бледное лицо, а в упор устремленный на меня взгляд больших черных глаз, словно жгучим ударом кинжала, пронзил мою грудь. Мне стало жутко, я затрепетал от страха, однако, отвернувшись и собрав все силы, продолжал говорить. Но будто под воздействием недобрых чар я все поворачивал голову в его сторону, и все так же сурово и неподвижно стоял этот муж с устремленным на меня загадочным взглядом. Горькая насмешка... ненависть, исполненная презрения, застыли на его изборожденном морщинами высоком челе и в опущенных углах рта. От него веяло холодом... жутью. О, да ведь это был неведомый Художник из Святой Липы!.. Я почувствовал леденящие объятия ужаса... Капли холодного пота проступили у меня на лбу... Речь моя теряла плавность... я все более сбивался... В церкви стали перешептываться... слышался ропот... Но все так же неподвижно, оцепенело стоял, прислонясь к колонне, грозный Незнакомец, устремив на меня свой упорный взгляд. И я крикнул в безумном порыве смертельного страха:

– Изydi, проклятый!.. Изydi!.. ибо я... я – святой Антоний!

Тут я упал без сознания, а очнулся уже на своем иноческом одре, брат Кирилл сидел у моего изголовья, пестуя меня и утешая. Но как живой стоял перед моими глазами образ грозного Незнакомца. И чем больше брат Кирилл, которому я все рассказал, старался убедить меня, что это был лишь призрак воображения, разгоряченного моей уж слишком ревностной проповедью, тем более жгучими были горечь раскаяния и стыд за свое поведение на кафедре. Как я потом узнал, по моему последнему восклицанию прихожане рассудили, что со мной приключился приступ внезапного помешательства. Нравственно я был раздавлен, уничтожен. Затворившись в своей келье, я предавался строжайшему покаянию и в пламенных молитвах искал сил на борение с Искусителем, дерзнувшим явиться мне в святом месте и лишь глумления ради принявшим образ благочестивого Художника из Святой Липы.

Никто, впрочем, не видал мужа в фиолетовом плаще, и приор Леонард по известной доброте своей из всех сил старался объяснить происшедшее горячкой, которая так зло застигла меня во время проповеди и была причиной того, что я стал заговариваться. И действительно, я был еще хил и немощен, когда спустя несколько недель вошел опять в круговорот монастырской жизни. Я попытался снова подняться на кафедру, но, терзаемый страхом, преследуемый наводящим ужас мертвенно-бледным ликом, я из сил выбивался, стараясь достигнуть известной стройности изложения, и уже не надеялся, как бывало прежде, на огонь красноречия. Проповеди мои стали обыденными... вялыми... бессвязными. Прихожане пожалели о моем утраченном даре и мало-помалу рассеялись, а на место мое возвратился проповедовавший прежде старый монах, и говорил он явно лучше меня.

Некоторое время спустя обитель нашу посетил молодой граф, который путешествовал со своим наставником, и пожелал осмотреть ее многочисленные достопримечательности. Мне пришлось отпереть залу с реликвиями, но когда мы вошли, то приора, сопровождавшего нас при осмотре монастырской церкви и хоров, зачем-то позвали и я остался один с гостями. Показывая то одно, то другое, я давал объяснения, но вот графу бросился в глаза украшенный изящной резьбой старинный немецкий шкаф, в котором у нас хранился ларец с эликсиром сатаны. Не считаясь с явным моим нежеланием говорить о том, что хранится в этом шкафу, граф и наставник не отставали от меня до тех пор, пока я не рассказал им легенду о коварстве дьявола, об искушениях святого Антония и о хранящейся у нас редкости – диковинной бутылке; и я даже слово в слово повторил те предостережения, которые сделал брат Кирилл, уверявший, что губительно открывать ларец и показывать бутылку. Но хотя граф был и нашей веры, он, казалось, столь же мало, как и его наставник, придавал значения святым легендам. Оба они потешались и острили над смехотворным чертом, таскавшим в дырявом плаще соблазнительные бутылки. Наконец наставник, приняв серьезный вид, сказал:

– Не сетуйте на нас, легкомысленных мирян, ваше преподобие!.. Будьте уверены, мы с графом глубоко чтим святых как выдающихся подвижников веры, которые ради спасения своей души и душ ближних жертвовали всеми радостями жизни и даже ею самой. Но что до истории, рассказанной сейчас вами, то она, думается мне, лишь тонкое назидательное иносказание, сочиненное святым, и оно только по какому-то недоразумению было потом внесено в его житие как нечто действительно с ним происшедшее.

С этими словами наставник проворно отбросил крышку и выхватил из ларца черную, странного вида бутылку. Действительно, как утверждал брат Кирилл, вокруг распространился крепкий аромат, но только не одуряющий, а скорее приятный, животворный.

– Э, да я побьюсь об заклад, – воскликнул граф, – что этот эликсир сатаны – настоящее сиракузское вино, и притом отличное!

– Без сомнения, – поддержал наставник, – и если эта бутылка действительно досталась вам из наследия святого Антония, высокочтимый отец, то вам повезло куда более, чем королю неаполитанскому; ведь дурное обыкновение римлян не закупоривать вина, а сохранять их под слоем масла лишило его величество удовольствия отведать древнеримского вина. Но если это вино и не столь старо, как древнеримское, то все же оно самое выдержанное из всех существующих на свете, и вы недурно поступили бы, воспользовавшись как должно этой реликвией и полегоньку выцедив ее себе на утеху.

– О да, – подхватил граф, – и это старое-престарое сиракузское вино, глубокочтимый отец, влило бы в вашу кровь свежие силы, так что и следа не осталось бы от той немощи, какая, очевидно, снедает вас.

Наставник вытащил из кармана стальной пробочник и, не вникая моим возражениям, откупорил бутылку... Мне показалось, что вслед за вылетевшей пробкой мигнул и мгновенно погас синеватый огонек. Аромат стал сильнее и разошелся по всей комнате. Наставник первый отведал вина и восторженно воскликнул:

– Отличное, отличное сиракузское! Видно, недурен был погребок у святого Антония, и если дьявол действительно поставлял ему вино, то, право же, он относился к подвижнику не так уж плохо, как принято думать. Отведайте, граф.

Граф отведал и подтвердил мнение наставника. Продолжая вышучивать эту достопримечательность как явно наилучшую во всем собрании, они говорили, что таких реликвий они рады бы иметь целый погреб, и т. д. Я слушал молча, понутив голову и потупив глаза; беззаботное веселье этих людей удручающе отозвалось во мне: на сердце у меня стало тяжелее, и напрасно настаивали они на том, чтобы я пригубил вина святого Антония, я наотрез отказался и, тщательно закупорив бутылку, запер ее в хранилище.

Приезжие покинули монастырь, но когда я одиноко сидел в своей келье, то заметил, что самочувствие мое улучшилось и что я бодр и весел. Как видно, уже один аромат вина подкрепил мои силы. Я не испытал на себе ни малейшего следа того вредного действия, о котором говорил Кирилл, наоборот, было очевидно благотворное влияние эликсира; и чем глубже я вникал в смысл легенды о святом Антонии и чем живее звучали у меня в душе слова графского наставника, тем более убеждался я, что его объяснение правильно; и вот в голове у меня, словно молния, блеснула мысль, что в тот злополучный день, когда адское видение прервало мою проповедь, я и сам задавался целью объяснить прихожанам эту легенду как тонкое и поучительное иносказание святого мужа. К этому соображению вскоре присоединилось другое, и оно так меня захватило, что все остальное потонуло в нем. «Что, если этот волшебный напиток, – думал я, – придаст крепость душе твоей, зажжет погасшее было пламя, и оно, вспыхнув с новой силой, всего тебя озарит? И не сказало ли таинственное сродство твоего духа с заключенными в вине силами природы, если тот же самый аромат, который одурманивал хилого Кирилла, так животворно подействовал на тебя?»

Но всякий раз, как я решался последовать совету гостей и уже готов был приступить к делу, какое-то внутреннее, мне самому непонятное сопротивление удерживало меня. И едва я подходил к шкафу с намерением открыть его, мне вдруг начинало мерещиться в его причудливой резьбе навещающее ужас лицо Художника с пронзительным, в упор устремленным на меня взглядом мертвенно-живых глаз; мною овладевал суеверный страх, я опрометью бросался вон из хранилища реликвий и у подножия креста каялся в своем дерзновении. Но все настойчивей и настойчивей овладевала мною мысль, что лишь после того, как я отведаю чудодейственного вина, дух мой обретет вожаденную свежесть и силу.

Меня доводило до отчаяния обхождение со мной приора и монахов... они ведь принимали меня за душевнобольного и относились ко мне с искренним участием, проявляя, однако, унижавшую меня осмотнительность, и, когда Леонард освободил меня от посещения церковных служб, чтобы я мог вполне собраться с силами, однажды бессонной ночью, истерзанный скорбью, я решился дерзнуть на все, хотя бы мне грозила смерть, – и пойти на гибель или возвратить себе утраченную духовную силу!

Поднявшись со своего дощатого ложа, я, как призрак, заскользил по церкви, пробираясь в залу реликвий, с лампой в руке, зажженной от огонька, теплившегося пред образом Девы Марии. Казалось, лики святых в монастырском храме, освещенные трепетным сиянием лампы, оживают и смотрят на меня с состраданием, а сквозь разбитые окна на хорах несутся ко мне в глухом шуме ветра предостерегающие голоса, и чудится долетевший издалика зов матери: «Медард, сын мой, что ты затеял, отступись от греховного умысла!» Но в зале реликвий царили тишина и покой; я распахнул дверцы шкафа, выхватил ларец, бутылку и сделал изрядный глоток.

По жилам моим заструился огонь, я почувствовал себя неопределимо здоровым... глотнул еще немного, и вот уже я радостно стою у преддверия новой – и чудо какой прекрасной! – жизни... Я поспешно запер опустевший ларчик в шкаф, побежал с благодетельной бутылкой в свою келью и спрятал ее в конторку.

Тут мне попался под руку маленький ключик, который я некогда снял во избежание соблазна, – как же это я, не имея его, мог отпереть шкаф при недавних гостях и сейчас? Я отыскал связку с ключами, и глянь-ка! – на ней между другими висит какой-то невиданный ранее ключик, которым я, оказывается, уже дважды отмыкал шкаф, по рассеянности вовсе его не замечая.

Невольно я вздрогнул, но в душе моей, словно очнувшейся от глубокого сна, замелькали картины, одна пестрее другой. Я не знал покоя, места себе не находил до самого утра, а занялось оно так весело, что я поторопился в монастырский парк навстречу пламеневшим, как жар, лучам солнца, уже поднявшегося над горами. Леонард и братья заметили глубокую во мне перемену; вчера еще замкнутый, молчаливый, я был весел и оживлен. И я загорелся былым огнем красноречия, словно говорил перед собравшейся паствой. Когда я остался с Леонардом наедине, он долго всматривался в меня, словно желая проникнуть в глубину моей души. Но только легкая усмешка скользнула по его лицу, когда он сказал мне:

– Уже не в видении ли свыше брат Медард обрел новые силы и юный пыл?

Я почувствовал, что сгораю от стыда, и жалким, недостойным показалось мне в тот момент мое красноречие, порожденное глотком старого вина. Я стоял, потупив глаза и опустив голову, а Леонард ушел, предоставив меня моим размышлениям. Я весьма опасался, что подъем, вызванный вином, продлится недолго и, быть может, к моей вящей скорби, повлечет за собой еще большее изнеможение; но этого не случилось, напротив, вместе с возвратившимися силами ко мне вернулась юношеская отвага и неумная жажда той высокой деятельности, какую предоставлял мне монастырь. Я настаивал на том, чтобы в первый же праздник мне разрешили выступить с проповедью, и получил соизволение. Накануне я отведал чудодейственного вина, и никогда еще не говорил я столь пламенно, вдохновенно, проникновенно. Слух

о моем выздоровлении быстро распространился по округе, и народ хлынул в церковь; но чем больше привлекал я расположение толпы, тем сдержаннее и задумчивее становился Леонард, и я всей душой начинал его ненавидеть, подозревая его в мелочной зависти и в монашеской гордыне.

Приближался день святого Бернарда, и я преисполнился горячего желания блеснуть перед княгиней своими дарованиями; я попросил приора устроить так, чтобы мне позволили проповедовать в монастыре бернардинок... Мне показалось, что просьба моя застигла Леонарда врасплох; он признался, что на сей раз хотел сам выступить с проповедью и уже все подготовлено к этому, но тем проще ему исполнить мою просьбу: он скажется больным и взамен пошлет меня.

Так оно и произошло!.. Накануне праздника я увиделся с матерью и с княгиней; но я до того был поглощен своей проповедью, надеясь достигнуть в ней вершин церковного красноречия, что свидание с ними почти не произвело на меня впечатления. В городе распространился слух, что вместо заболевшего Леонарда читать проповедь буду я, и, вероятно, это и привлекло в церковь немало образованных людей. Я говорил без всякого наброска, а только предварительно расположив в уме все части проповеди, в расчете на силу вдохновения, какую вызовут у меня в душе торжественная служба, толпа набожных прихожан и, наконец, сама великолепная церковь с уходящим ввысь куполом, – и я не ошибся! Подобно огненному потоку стремительно несло мое слово, содержавшее немало самых живых образов и благочестивых размышлений, связанных с житием святого Бернарда, и в устремленных на меня взорах я читал восторг и удивление. С нетерпением ожидал я, что скажет княгиня, как горячо она выразит свое душевное удовлетворение, и, думалось мне, теперь она, глубже осознав присущую мне высшую силу, отнесется с невольным благоговением к тому, кто еще ребенком приводил ее в изумление. Но, когда я выразил желание побеседовать с нею, она попросила передать мне, что внезапно почувствовала себя нездоровой и потому не сможет говорить ни с кем, даже со мной...

Мне это было тем досаднее, что я вообразил себе в своем горделивом суемудрии, будто аббатиса пожелает услышать из моих уст еще и другие исполненные благочестия речи. Мать мою, казалось, точила какая-то невысказанная скорбь, но я не стал допытываться, что с нею, ибо втайне винил во всем самого себя, хотя я и не был в состоянии в этом разобраться. Она передала мне от княгини записку, но с тем, чтобы я ознакомился с ней только у себя в монастыре. Едва переступив порог моей кельи, я, к своему изумлению, прочитал нижеследующее:

«Милый сын мой (я все еще хочу так тебя называть), ты причинил мне глубочайшее огорчение своей проповедью в церкви нашей обители. Слова твои исходят не из глубины благоговейно устремленной к небу души, и воодушевление твое далеко не такое, когда верующий, словно на крыльях серафимов, устремляется ввысь и в священном восторге созерцает царство Божие. Увы! Все тщеславное великолепие твоей речи и явственное стремление насытить ее блестящими эффектами подсказывают мне, что ты не наставлял общину верующих, возжигая в ней светоч благочестивых размышлений, а искал только похвал и пустого восхищения суетно настроенных мирян. Ты лицемерно выставлял чувства, каких нет у тебя в душе, ты прибегал к явно заученным жестам и наигранному выражению лица, будто самонадеянный актер, ради одних постыдных одобрений. Дух лжи завладел тобою, и он тебя погубит, если ты вновь не обрешь себя и не отрешись от греховных помыслов. Ибо грех, великий грех – все поведение твое и твои замашки, грех тем больший, что, постригаясь в монахи, ты дал обет вести самый благочестивый образ жизни и отречься от земной суеты. Да простит тебя по своему небесному долготерпению святой Бернард, которого ты так тяжко оскорбил, и да озарит он душу твою, дабы ты снова вступил на стезю истины, с которой сбился, соблазненный Врагом рода человеческого, и да будет он ходатаем о спасении твоей души. Прощай».

Будто градом громовых стрел пронзили меня слова аббатисы, и я запылал гневом, ибо подобные же намеки Леонарда на мои проповеди с несомненностью изобличали приора в том,

что он воспользовался ханжеством княгини и восстановил ее против меня и моего дара красноречия. Встречаясь теперь с ним, я дрожал от еле сдерживаемой ярости, и порой у меня появлялась даже мысль известить его, хотя я и приходил в ужас от этих помышлений. И тем нестерпимее были мне упреки аббатисы и приора, что в глубочайших недрах моей души я отлично чувствовал правоту обоих; но я все более упорствовал в своем поведении и, подкрепляя себя таинственным напитком, продолжал уснащать свои проповеди всеми цветами витийства, тщательно продумывая и свои жесты и выражение лица, и таким-то образом добивался все больших и больших похвал и знаков величайшего восхищения.

Утренний свет пробивался многоцветными лучами сквозь витражи монастырской церкви; одинокий, в глубоком раздумье сидел я в исповедальне; только шаги прибиравшего церковь послушника гулко отдавались под высокими сводами. Вдруг невдалеке от меня зашелестело, и я увидел высокую стройную женщину, судя по одежде, не из наших мест, с опущенной на лицо вуалью; войдя в боковую дверь, она приближалась ко мне, намереваясь исповедаться. Она подошла с неописуемой грацией, опустилась на колени, глубокий вздох вырвался у нее из груди – я почувствовал ее жгучее дыхание и еще прежде, чем она заговорила, был во власти ошеломляющего очарования.

Как описать совершенно особый, до глубины души проникающий звук ее голоса!.. Каждое слово ее хватало за сердце, когда она призналась, что питает запретную любовь, с которой долго и тщетно боролась, и любовь эта тем греховней, что ее возлюбленный связан обетом; но в безумном отчаянии она впала в безнадежность и обеты его прокляла.

Тут она запнулась... поток слез хлынул у нее из очей, и в нем захлебнулись ее слова:

– Это ты, ты, Медард, это тебя я так неизречно люблю!

Словно смертельной судорогой пронизало все мое существо, я был вне себя, порыв неведомого мне доселе чувства раздирает грудь, – бросить на нее взгляд, обнять... умереть от восторга и муки; минута такого блаженства, а там хоть вечные муки ада!

Она замолкла, но я слышал, как взволнованно она дышит.

Охваченный каким-то исступленным отчаянием, я собрал все свои силы и сдержался; не знаю, что я такое говорил, но вот я заметил, как она, не проронив ни слова, встала и удалилась, а я, крепко прижимая к глазам платок, продолжал сидеть в исповедальне, оцепеневший, едва ли не без памяти.

К счастью, никто больше не заходил в церковь, я мог незаметно ускользнуть и возвратиться в келью. Но все теперь предстало мне в другом свете, и какими же нелепыми и пустыми показались мне все мои прежние стремления!

Мне не пришлось увидеть лица Незнакомки, и все же она жила у меня в душе, смотрела на меня чарующими темно-синими глазами, – перлы слез дрожали в них и, срываясь, жаркими искрами падали мне в душу и зажигали в ней пламя, погасить которое не дано было никакой молитве, никаким покаянным самоистязаниям. А ведь я обратился к ним и до крови бичевал себя веревкой с узлами, дабы избежать вечной гибели, ибо нередко огонь, который заронила в мое сердце Незнакомка, возбуждал во мне дотоле неведомые греховные желания, и я не знал, как спастись от мук сладострастия.

В церкви нашей был придел во имя святой Розалии¹⁸ с дивной иконой, изображавшей праведницу в час ее мученической кончины.

В ней я узнал свою возлюбленную, и даже платье на святой было точь-в-точь такое же, как странный костюм Незнакомки. Здесь-то, простершись на ступенях алтаря, я, словно охва-

¹⁸ В церкви нашей был придел во имя святой Розалии – св. Розалия (ум. 1160) происходила из рода Карла Великого. В юности удалилась в пещеру возле города Палермо, покровительницей которого считается. Не мученица, как о ней говорит Гофман, а отшельница. Пещера св. Розалии с ее статуей описана Гете в «Путешествии по Италии».

ченный безумием, испускал страшные вопли, от которых монахи приходили в ужас и разбегались, объятые страхом.

В минуты более спокойные я метался по всему монастырскому парку и видел – вот она скользит вдалеке по благоухающим равнинам, мерцает в кустах, реет над потоком, витает над цветущими лугами, повсюду она, только она!

И я предавал проклятиям свои монашеские обеты, самое свою жизнь!

Прочь отсюда, за монастырские стены, и не ведай покоя, пока ты не найдешь ее, пока она, ценою вечного спасения, не станет твоей!

Наконец мне кое-как удалось умерить приступы безумия, приводившего в недоумение приора и братию; внешне я стал спокойнее, но тем глубже в душу проникало пагубное пламя.

Ни сна!.. Ни покоя!

Образ Незнакомки преследовал меня, я метался на своем жестком ложе и зывал к святым, но не о том, чтобы они меня спасли от соблазнительного призрака, витавшего передо мной, и не о том, чтобы душе моей избежать вечного проклятия, – нет! А о том, чтобы они дали мне эту женщину, разрешили меня от обета, предоставили свободу для греховного отступничества!

Но вот в душе у меня созрела мысль – бегством из монастыря положить конец моим мукам. Освободиться от монашеского сана, заключить в объятия эту женщину, утолить бушевавшую во мне страсть! Я решил сбрить бороду, переодеться в светское платье и, изменив таким образом до неузнаваемости свою внешность, бродить по городу до тех пор, пока ее не найду; мне и в голову не приходило, как все это трудно, да и попросту невозможно; и мне было невдомек, что, не имея вовсе денег, я не проживу и дня за стенами монастыря.

Наконец настал последний день, который я еще намеревался провести в обители; благодаря счастливой случайности я раздобыл себе мирское платье: ночью я собирался покинуть монастырь, с тем чтобы никогда больше сюда не возвращаться. Вот уже и вечер наступил, как вдруг приор вызвал меня к себе. Я весь затрепетал, будучи убежден, что он высмотрел мои тайные приготовления. Принял меня Леонард необычайно сурово, с величавым достоинством, отчего я вновь невольно содрогнулся.

– Брат Медард, – начал он, – твое безумное поведение, которое я считаю лишь неистовым проявлением той душевной экзальтации, какую ты с давних пор у нас насаждаешь, – с целью, быть может, и не совсем чистой, – расстраивает нашу спокойную совместную жизнь; более того, оно лишает братию жизнерадостного расположения духа, которое я всегда стремился поддержать среди них как плод тихой благочестивой жизни. Причина этого состояния, быть может, какое-нибудь злокозненное происшествие, приключившееся с тобой. Ты мог бы обрести утешение у меня, отечески расположенного к тебе друга, которому ты можешь вполне довериться, но ты молчишь, а я теперь не склонен настаивать, ибо тайна твоя могла бы смутить мой покой, а он мне всего дороже в пору безмятежной старости. Как часто страшными, богопротивными речами, которые ты, казалось, говорил в безумии, главным образом в приделе святой Розалии, ты безбожно досаждал не только братии, но и посторонним, когда они оказывались в церкви; да, я мог бы сурово тебя покарать, как того требуют правила монастырского распорядка, но я этого не сделаю, ибо в твоих заблуждениях, возможно, повинна некая злая сила или даже Враг, которому ты недостаточно сопротивлялся, и посему я лишь налагаю на тебя послушание – неусыпно каяться и молиться... Вижу, что у тебя там, в недрах души!.. Ты рвешься на волю!..

Леонард проницательно посмотрел на меня, и я, не выдержав его взгляда, рыдая, пал ниц перед ним, отлично зная за собой это недоброе намерение.

– Я тебя понимаю, – продолжал Леонард, – и сам думаю, что лучше монастырского одиночества тебя исцелит жизнь в миру, если только ты будешь благочестив. Обстоятельства требуют, чтобы наш монастырь послал одного из братьев в Рим. Я выбрал тебя, и уже завтра ты

можешь отправляться с надлежащими наставлениями и полномочиями. Для выполнения этой миссии у тебя все данные: ты молод, деятелен, искусен в делах и к тому же отлично владеешь итальянским языком... Ступай же сейчас в свою келью, горячо молись о спасении своей души, и я буду молиться о тебе, только откажись от самобичевания: оно лишь ослабит тебя и ты не сможешь отправиться в путь. На рассвете жду тебя, приходи в эту келью.

Слова почтенного Леонарда небесным лучом озарили мою душу; я доходил до ненависти к нему, но вот сейчас какая-то благостная боль пронзила мне сердце, то была *любовь*, которая некогда так привязывала меня к нему. Горячие слезы брызнули у меня из глаз, и я приник устами к его рукам. Он обнял меня, и мне показалось, что ему ведомы мои самые тайные помышления и что он предоставляет мне свободу идти по стезе, предначертанной мне роком, который, властвуя надо мной, быть может, ввергнет меня в вечную погибель, даровав лишь один миг блаженства.

Бегство мое оказалось ненужным, я вправе был покинуть монастырь и мог посвятить себя поискам той, без кого для меня в этом мире не будет ни радости, ни покоя, – мог неутомимо разыскивать ее, доколе не найду! Мое путешествие в Рим, сопряженное с неким поручением, казалось, было придумано Леонардом как предлог выпроводить меня из монастыря.

Ночь я провел в молитве и в сборах в дорогу; я вылил остатки таинственного вина в оплетенную флягу, чтобы при случае воспользоваться им как испытанным средством, а *пустую* бутылку из-под эликсира положил в ларчик.

Немало был я удивлен, когда из подробнейших наставлений приора убедился, что моя поездка в Рим не была его выдумкой и что действительно обстоятельства, требовавшие присутствия там полномочного брата, имели важное значение для монастыря. И тяжело стало у меня на сердце, когда я подумал, что с первых же шагов за стенами обители я безоглядно воспользуюсь своей свободой. Но мысль о *ней* подбодрила меня, и я решил твердо следовать своим побуждениям.

Собрались братья, и прощанье с ними, а особенно с отцом Леонардом, пробудило у меня в душе глубокую тоску. Наконец ворота обители затворились за мной, и я, снабженный всем необходимым для дальнего пути, очутился на воле.

Глава вторая

Вступление в мир

Глубоко в долине сквозь голубую дымку виднелся монастырь; порыв свежего утреннего ветерка донес до меня священные песнопения братьев. Невольно я начал вторить им. Жаркое, пышущее пламенем солнце поднималось над городскими строениями и золотом искр загоралось на деревьях, а капли росы, переливаясь алмазами, падали с радостным шорохом на мириады пестрых букашек, с жужжаньем и стрекотаньем поднимавшихся на воздух. Проснувшиеся птицы порхали в лесу, перелетая с ветки на ветку, и как же они пели и ликовали в своих веселых любовных играх!

Толпа деревенских парней и празднично разодетых девушек поднималась в гору. Они проходили мимо меня, восклицая: «Слава Иисусу Христу!» «Во веки веков!» – отвечал я, и мне чудилось, будто новая жизнь, свободная и радостная, с вереницей радужных картин, распахнулась передо мной!.. Никогда еще я не чувствовал себя так хорошо, я самому себе казался совсем другим, и, с воспрянувшими силами, окрыленный, вдохновленный, я стремительно спускался с поросшей лесом горы. Мне повстречался крестьянин, и я спросил его, как пройти к месту, которое в моем путевнике было указано для первого ночлега; он обстоятельно растолковал мне, где надо свернуть с большой дороги на крутую тропу, пересекающую горы.

Я прошел в одиночестве уже довольно значительное расстояние, когда впервые за время пути вспомнилась мне моя Незнакомка и мой фантастический план, как ее отыскать. Но какая-то неведомая, чуждая сила стерла в моей памяти ее образ, и я с трудом мог узнать ее искаженные, померкшие черты; и чем настойчивее стремился я восстановить их перед своим духовным взором, тем более расплывались они во мгле. Зато перед глазами отчетливо вставали картины моего разнузданного поведения после той, овеванной тайною, встречи. Мне самому было теперь непонятно долготерпение, с каким наш приор все это перенес, да еще вместо заслуженной мною кары послал меня в мир. Вскоре я пришел к мысли, что моя Незнакомка была всего лишь видением, следствием чрезмерного душевного напряжения; но вместо того, чтобы приписать, как я сделал бы прежде, это соблазнительное и сулящее гибель наваждение упорному преследованию дьявола, я счел его обманом моих чересчур возбужденных чувств; Незнакомка была одета точь-в-точь как святая Розалия, и мне представилось, что немалую роль тут сыграла икона святой, хотя со скамьи в исповедальне я видел ее со значительного расстояния и притом сбоку. Меня восхищала мудрость приора, нашедшего верную стезю для моего исправления; ибо в стенах монастыря, всегда окруженный одними и теми же предметами, вечно копаясь в своей душе и ее растравляя, я мог бы дойти до помешательства под впечатлением видения, которому в своем одиночестве я придавал бы все более жгучие и соблазнительные краски. Постепенно проникаясь мыслью, что то была лишь игра воображения, я еле удерживался от насмешки над самим собой и даже с несвойственной мне игривостью потешался над безумной идеей, будто в меня влюбилась святая; при этом я тотчас же вспоминал, что ведь и сам-то успел побывать в роли святого Антония...

Уже несколько дней скитался я среди чудовищных нагромождений скал, между которыми вилась узкая тропа, а глубоко внизу бушевали окаймленные лесом потоки, – все пустыней, все тягостней становился путь. Был полдень, солнце жгло мою непокрытую голову, жажда томила меня, но мне не встретилось даже родника, и я никак не мог добраться до деревни, которая должна была лежать на моем пути. В изнеможении присел я на обломок скалы и, не устояв перед соблазном, немного отхлебнул из фляги, хотя и собирался по возможности беречь диковинный напиток. Новые силы жарко хлынули мне в кровь, и, освеженный, обновленный, я зашагал к моей, уже явно недалекой цели. Но все гуще и гуще становился пихтовый лес; вот что-то зашуршало в темной чаще, и вдруг заржала лошадь, как видно там привязанная.

Я сделал еще несколько шагов и оцепенел, внезапно очутившись на краю зиявшей подо мной ужасной пропасти, на дне которой между крутыми и острыми скалами мчался вниз с яростным шипением и ревом лесной поток, громовой грохот которого я слышал еще издали.

А на самом краю обрыва, на выступе нависшей над бездной скалы, сидел молодой человек в офицерской форме; возле него лежали шляпа с высоким султаном, шпага и бумажник. Казалось, он спал, свесившись над пропастью и сползая все ниже и ниже.

Его падение было неотвратимо. Я отважился подвинуться вперед и, пытаясь удержать, схватил его за руку и громко воскликнул:

– Ради бога, проснитесь... Ради бога!

Но едва я до него дотронулся, как он очнулся от глубокого сна и, потеряв равновесие, рухнул в мгновение ока в бездну; тело его покатилося со скалы на скалу; послышался треск разможенных костей, раздирающий вопль донесся из неизмеримой глубины; потом почудились глухие стоны, но наконец замерли и они. В смертельном испуге я застыл, затем схватил шляпу, шпагу, бумажник и уже двинулся было прочь от злополучного места, как навстречу мне из лесу вышел одетый егерем парень и, пристально взглядевшись в меня, начал так безудержно хохотать, что леденящий ужас обуял меня.

– Ну, ваше сиятельство граф, – проговорил он наконец, – маскарад и впрямь получился отменный, и если бы ее милость баронесса ничего о нем наперед не знала, то, по правде говоря, ей не признать бы своего любезного. Но куда вы девали свой костюм, ваше сиятельство?

– Я швырнул его в пропасть, – как-то пусто и глухо прозвучало в ответ, ибо не я произнес эти слова, они сами собой сорвались с моих уст.

Я стоял в раздумье и упорно глядел в бездну, словно ожидая, что над ней вот-вот грозно встанет окровавленный труп графа... Мне казалось, что я его убийца, я все еще судорожно сжимал в руке его шпагу, шляпу и бумажник.

А егерь между тем продолжал:

– Ну, ваша милость, пора, я спущусь по тропинке в городок и буду там скрываться в доме, что слева у самой заставы, а вы, конечно, отправитесь в замок, где вас уже поджидают; шпагу и шляпу я заберу с собой.

Я подал ему и то и другое.

– Прощайте, ваше сиятельство! Желаю вам доброй удачи в замке! – воскликнул егерь и тотчас же скрылся в чаще, насвистывая и напевая. Я услышал, как он отвязал лошадь и повел ее за собой.

Когда столбняк у меня прошел и я обдумал все происшедшее, то вынужден был сознаться, что поддался прихоти случая, одним рывком швырнувшего меня в какое-то загадочное сплетение обстоятельств. Как видно, разительное сходство в фигуре и в чертах моего лица со злосчастным графом ввело егеря в заблуждение, а граф, должно быть, как раз собирался переодеться капуцином ради амурных походов в близлежащем замке. Но его настигла смерть, а дивная судьба в тот же миг подставила меня на его место. Мною овладело неудержимое желание подхватить роль графа, навязанную мне судьбой, и оно подавило в моей душе все сомнения, заглушило внутренний голос, обвинявший меня в убийстве и в дерзком преступлении. Я открыл оставшийся у меня бумажник, в нем оказались письма и вексель на значительную сумму. Мне хотелось пробежать глазами бумаги, ознакомиться с письмами, чтобы разузнать побольше об обстоятельствах жизни графа, но этому помешали мое душевное смятение и вихрь противоречивых мыслей, бурно пронесившихся у меня в голове.

Сделав несколько шагов, я вновь остановился и присел на обломок скалы, чтобы как следует успокоиться, – ведь я понимал, до чего опасно вступать совершенно не подготовленным в чуждую мне среду; но тут по всему лесу разнеслись веселые звуки рогов, и все ближе и ближе наплывали радостные, ликующие голоса. Сердце мое забилося сильнее, дух перехватило, ах, наконец-то распахнется передо мной новый мир, новая жизнь!

Я свернул на узенькую тропинку, извивавшуюся по крутому склону, и, выйдя из кустов, увидел в глубине долины прекрасный величественный замок... Так вот оно, место загадочной затеи графа, навстречу которой так отважно шел теперь я! Вскоре я очутился в парке, окружавшем замок; по его сумрачной боковой аллее гуляли двое мужчин, один из них был в одеянии послушника. Приблизившись ко мне, они прошли мимо, за разговором не заметив меня. Послушник был юноша, на его красивом мертвенно-бледном лице лежала печать точившей его скорби; второй, просто, но прилично одетый, казался уже человеком пожилым. Они уселись спиной ко мне на каменную скамью, и до меня явственно доносилось каждое произносимое ими слово.

– Гермоген, – сказал пожилой, – вся семья в отчаянии от вашего упорного молчания; мрачная тоска с каждым днем забирает над вами все большую власть; подорваны ваши юношеские силы, вы блекнете, а ваше решение постричься в монахи идет наперекор всем надеждам, всем желаниям вашего отца!.. Но он охотно отрекся бы и от своих надежд, если бы истинное внутреннее призвание, неодолимая с юных лет склонность к одиночеству привели вас к такому решению, о, тогда он не стал бы препятствовать *тому*, что предопределено судьбой. Но внезапная перемена во всем вашем существе слишком ясно говорит о том, что какое-то из ряда вон выходящее событие, о котором вы упорно молчите, безмерно вас потрясло и его разрушительное действие все еще продолжается... А ведь совсем недавно вы были таким веселым, беспечным, жизнерадостным юношей!.. Так чем же вызвано подобное отчуждение от всего рода людского, – неужели вы усомнились в самой возможности найти в другом человеке поддержку вашей больной, помраченной душе? Вы молчите?.. Смотрите застывшим взглядом перед собой?.. Вдыхаете?.. Гермоген! Прежде вы так искренне любили отца, а ныне вам уже невозможно открыть ему свое сердце, – пусть так, но зачем вы терзаете его уже одним видом своего одеяния, разве оно не напоминает ему о вашем решении, для него столь прискорбном? Заклинаю вас, Гермоген, сбросьте это нелепое одеяние! Поверьте, есть сокровенная сила в подобного рода внешних вещах; и я полагаю, вы не посетуете на меня и даже вполне меня поймете, если я сейчас, пусть и некстати, напомню вам об актерах, которые, одеваясь в тот или иной костюм, чувствуют, будто ими овладевает некий чужой дух, и легче становится им изобразить тот или иной характер. Позвольте же мне, сообразно натуре моей, высказаться об этом предмете более шутивно, чем, пожалуй, пристало о нем говорить... Не правда ли, если б это длинное одеяние, стесняя ваши движения, не принуждало вас к угрюмой торжественности, вы стали бы двигаться быстро и весело и даже бегали бы и прыгали, как бывало? А отблеск эполет, что прежде сверкали у вас на плечах, возможно, зажег бы жарким юношеским огнем ваши побледневшие щеки, и звенящие шпоры призывной музыкой зазвучали бы для вашего боевого коня, и он заржал бы, завидев вас, и заплясал от радости, склоняя шею перед любимым своим господином. Воспряньте духом, барон!.. Не одевайтесь в эти темные одежды... они вам вовсе не к лицу!.. Я велю сейчас Фридриху достать ваш мундир... ну как?

Старик встал и хотел было уйти, но юноша бросился в его объятия.

– Ах, как вы меня мучаете, милый Райнхольд! – воскликнул он угасшим голосом. – Как несказанно мучаете меня!.. Ах, чем упорнее стараетесь вы задеть во мне те струны души, которые прежде звучали в ней столь согласно, тем горестнее ощущаю я, как железная десница Рока схватила меня и так сдавила, что душа моя, точно разбитая лютня, издает лишь неверные звуки!

– Это вам так кажется, милый барон, – перебил старик, – вы говорите о постигшей вас чудовищной судьбе и умалчиваете о том, что же с вами произошло; но долг молодого человека, который подобно вам одарен незаурядной внутренней силой и юной отвагой, восстать против железной десницы Рока. Более того, он должен как бы в озарении присущей человеку божественной природы возвыситься над своей судьбой; постоянно пробуждать и поддерживать в

себе пламень более высокого бытия, дабы воспарить над скорбями нашей ничтожной жизни! И я не знаю, барон, какая судьба могла бы сокрушить столь могучую, питаемую изнутри волю.

Гермоген отступил на один шаг и, пристально глядя на старика сверкающим, будто загоревшимся от еле сдерживаемого гнева взглядом, в котором было что-то страшное, воскликнул глухим, подавленным голосом:

– Так знайте же, что я сам – погибельная судьба моя, что меня придавило бремя тягчайшего преступления, чудовищной вины, которую я обязан искупить в горе и отчаянии... Будьте же милосердны и упростите отца, пусть он отпустит меня в монастырь!

– Барон, – перебил его старик, – вы сейчас в таком состоянии, какое свойственно только вконец расстроенной душе, и потому вы не должны покидать нас, ни в коем случае не должны. На днях возвращается баронесса с Аврелией, оставайтесь, вам надо непременно повидаться с ними.

Юноша расхохотался с какой-то ужасающей язвительностью и воскликнул голосом, потрясшим мне душу:

– Мне?.. Остаться здесь?.. Да, это правда, старик, я действительно должен остаться, ведь тут меня ждет кара куда страшней, чем за глухими стенами монастыря.

С этими словами Гермоген сорвался с места и исчез в кустарнике, а старик продолжал стоять, подперев склоненную голову рукой и, как видно, всецело предаваясь своему горю.

– Слава Иисусу Христу! – произнес я, появляясь перед ним.

Он вздрогнул, потом с изумлением поглядел на меня, но быстро опомнился, словно мое появление было не совсем для него неожиданным.

– Ах, – произнес он, – наверное, вы и есть тот достопочтенный отец, о скором прибытии которого недавно сообщила баронесса в утешение подавленной горем семье?..

Я ответил утвердительно, и Райнхольд вскоре повеселел, он и вообще-то казался жизнерадостным человеком. Пройдя по прекрасному парку, мы очутились в маленькой беседке возле самого замка, – из нее открывался восхитительный вид на горы. Райнхольд подозвал слугу, как раз показавшегося у входа в замок, и вскоре нам был сервирован отличный завтрак. Чокаясь с Райнхольдом, я заметил, что он все внимательнее всматривается в меня, словно с великим трудом пытается воскресить в памяти нечто в ней угасшее. Наконец у него вырвалось:

– Боже мой, ваше преподобие! Если только меня не обманывает зрение, вы патер Медард из монастыря капуцинов в...р! Но как же это так?.. И все же!.. Да, точно, это вы... конечно, вы... Что вы на это скажете?..

Как пораженный громом среди ясного неба, я весь содрогнулся при этих словах Райнхольда. Мне уже чудилось, что меня разоблачили, поймали с поличным, обвинили в убийстве, но отчаяние прибавило мне сил, – дело шло о жизни и смерти!

– Да, я действительно патер Медард из монастыря капуцинов в...р и держу путь в Рим по поручению нашей обители и с ее полномочиями.

Я произнес это столь хладнокровно и спокойно, как только мог, призвав на помощь самое искусное притворство.

– Итак, это, быть может, чистая случайность, – сказал Райнхольд, – и вы попали к нам, сбившись с пути. А все же, как это получилось, что госпожа баронесса познакомилась с вами и направила вас сюда?

Я ответил не задумываясь, наобум, повторяя лишь то, что нашептывал мне чей-то чужой голос:

– Дорогой я повстречался с духовником баронессы, и он попросил меня исполнить его поручение в этом доме.

– Да, это верно, – подхватил Райнхольд, – так нам писала и госпожа баронесса; слава Господу, который путеводил вами ради блага этого дома и внушил вам, благочестивому и достойному мужу, мысль прервать свой путь, дабы совершить здесь доброе дело. Несколько лет тому

назад я по какому-то случаю был в...р и слышал вашу изливавшую бальзам речь, которую вы держали с кафедры словно по наитию свыше. По благочестию вашему, по дивному искусству с рвением и жаром уловлять закоснелые в грехах души, по вашему великолепному, вдохновенному дару слова я сужу, что вам дано будет совершить здесь то, чего не смогли сделать все мы, вместе взятые. Я рад, что мы с вами встретились до вашей беседы с бароном, и хочу воспользоваться этим, чтобы рассказать вам о тех отношениях, какие сложились в семье, и сделаю это с той откровенностью, преподобный отец, какую обязан проявить к вам, человеку святому, посланному сюда по явной милости небес и нашего утешения ради. Да и вам самому, дабы действовать надлежащим образом, необходимо узнать, пусть в самых общих чертах, даже то, о чем бы я охотно умолчал... Впрочем, все это можно изложить в немногих словах.

Мы с бароном – друзья детства, и души наши настроились столь согласно, что мы поистине стали братьями, и не было той стены между нами, какую обычно воздвигает между людьми неравенство их происхождения. Мы были неразлучны; и когда оба закончили университетский курс, он после смерти отца вступил во владение поместьями в этих горах, а я стал здесь управляющим... Я продолжал оставаться его лучшим другом и братом и потому посвящен в самые сокровенные обстоятельства жизни его семьи.

Отец барона пожелал, чтобы он женитьбой закрепил семейную связь с неким семейством, и молодой барон с тем большей радостью исполнил волю отца, что обрел в своей нареченной преисполненное ума, красоты и грации существо, к коему он почувствовал неудержимое влечение. Желания родителей редко так совпадают с велением судьбы, а она, кажется, во всех отношениях предопределила детей друг другу. Плодом этого счастливого брака были Гермоген и Аврелия. Зимой мы почти всегда проводили в находящейся неподалеку столице, а когда, вскоре после появления на свет Аврелии, баронесса занемогла, то мы не возвращались в горы и все лето, – ведь больная непрестанно нуждалась в помощи искусных врачей. Она скончалась незадолго до наступления весны, когда кажущееся улучшение ее здоровья уже внушало барону радостные надежды. Мы поспешили возвратиться в поместье, и только время могло смягчить овладевшую бароном глубокую мучительную скорбь.

Гермоген вырос и стал прекрасным юношей, Аврелия все более и более напоминала красотою мать, и тщательное воспитание детей стало для нас повседневным занятием и радостью. Гермоген обнаружил решительную склонность к военной службе, и поэтому барону пришлось послать его в столицу, с тем чтобы он начал там карьеру под наблюдением губернатора, старого друга барона.

Только три года тому назад барон снова, как в прежние времена, всю зиму провел с Аврелией и со мной в столице, чтобы хоть некоторое время быть поближе к сыну, а также по настоянию своих тамошних друзей, неотступно просивших его приехать. Всеобщее внимание возбуждало тогда появление племянницы губернатора, жившей до этого при дворе. Оставшись круглой сиротой, она поселилась у дяди, ее опекуна; ей отвели флигель при дворце, и жила она там своим домом, принимая у себя избранное общество. Я не стану описывать внешность Евфимии, да в этом и нужды нет, ведь скоро, преподобный отец, вы увидите ее сами, но только скажу: что бы она ни делала, что бы ни говорила, все у нее было проникнуто чарующей прелестью, придававшей неотразимое обаяние ее исключительной красоте. Всюду с ее появлением начиналась новая, исполненная блеска жизнь, всюду ее окружало пылкое, восторженное поклонение; даже человека незначительного и вялого она умела так расшевелить, что он будто в порыве вдохновения стремительно поднимался над своим убожеством и парил в блаженстве высокого, дотоле неведомого ему бытия. В поклонниках у нее, разумеется, не было недостатка, и они ежедневно взывали с жаром к своему кумиру; между тем нельзя было с уверенностью сказать, кому она отдает предпочтение, напротив, она ухитрялась, не обижая никого, дразнить и распалать их шаловливой и пикантной иронией, умела уловить их всех в свои сети, и они, веселясь и ликуя, двигались, словно зачарованные, в ее магическом кругу. Цирцея эта произ-

вела на барона неизгладимое впечатление. При первом же его появлении она оказала барону внимание, проявив к нему какую-то детскую почтительность. В разговорах с ним она блистала образованием, умом, глубоким чувством, какие редко встречаются у женщин. С бесподобной деликатностью пыталась она снискать и действительно обрела дружбу Аврелии, к которой проявила такое участие, что не пренебрегала даже заботами о мелочах ее туалета, и вообще матерински пеклась о ней. Она умела незаметно поддержать в блестящем обществе эту застенчивую, неопытную девушку, так что становились очевидными природный ум и чистое сердце Аврелии, отчего к девушке вскоре стали относиться с величайшим уважением. Барон при всяком удобном случае расточал Евфимии похвалы, и здесь-то, пожалуй, впервые в жизни, мы с ним резко разошлись во мнениях.

Обычно я был в обществе скорее сторонним наблюдателем, внимательным и спокойным, чем непосредственным участником оживленных бесед и разговоров. Потому-то я пристально и настойчиво наблюдал за Евфимией как существом в высшей степени любопытным, а она по своему обыкновению никого не обходя, время от времени обращалась ко мне с приветливым словечком. Признаюсь, она была самой прекрасной, самой блистательной женщиной этого круга, и во всех ее речах светились сердце и ум; и все же что-то непостижимое отталкивало меня от нее, и я не мог подавить в себе какое-то явно враждебное чувство, внезапно овладевавшее мною, едва она устремляла на меня свой взгляд или же вступала со мной в разговор. Порой глаза ее загорались каким-то особенным пламенем, и, когда она полагала, что за ней никто не наблюдает, взор ее так и метал молнии; словно это вопреки ее воле пробивался с трудом скрываемый блеск пагубного внутреннего огня. А на ее мягко очерченных устах скользила порою ядовитая усмешка, от которой меня пробирала дрожь, ибо это представлялось мне бесспорным признаком ее злобного высокомерия. Так она, бывало, нет-нет и взглянет на Гермогена, который мало, а то и вовсе не уделял ей внимания, и у меня крепла уверенность, что за прекрасной маской у нее скрывалось нечто такое, чего никто и не подозревал. Но неумеренным похвалам барона я мог противопоставить, разумеется, лишь мои физиогномические наблюдения, с которыми он никак не соглашался, считая мою неприязнь к Евфимии любопытнейшим проявлением природной антипатии. Он доверительно сообщил мне, что Евфимия, по видимому, войдет в его семью, так как он намерен приложить все усилия к тому, чтобы женить на ней Гермогена. А тот как раз вошел в комнату, где мы с бароном весьма серьезно обсуждали предполагаемое событие, причем я отыскивал всевозможные основания, чтобы оправдать свое мнение о ней; и тут барон, привыкший действовать всегда быстро и открыто, рассказал сыну безо всяких околичностей о своем желании, о видах на Евфимию.

Гермоген спокойно выслушал все, что барон весьма восторженно сказал ему о женитьбе и в похвалу Евфимии, а когда панегирик был исчерпан, он ответил, что она ничуть его не привлекает, что он никогда не сможет ее полюбить и потому горячо просит отца отказаться от своего намерения сочетать их браком. Барон был немало смущен тем, что взлелеянный им план развеялся, как только он о нем заговорил, но не решился настаивать, не зная, как отнесется к этому сама Евфимия. Со свойственным ему веселым добродушием он уже спустя несколько минут подтрунивал над этим незадачливым сватовством, говоря, что Гермоген, подобно мне, вероятно, испытывает к ней безотчетную неприязнь, хотя и нелегко понять, каким образом в такой прекрасной, обаятельной женщине может присутствовать столь отталкивающее начало. Его собственное отношение к Евфимии, естественно, осталось прежним; он так привязался к ней, что уже дня не мог прожить, не видя ее. И однажды, в веселом и благодушном настроении, он шутя сказал ей, что среди всех, кто ее окружает, лишь один человек не влюблен в нее, это Гермоген, резко отказавшийся от союза с нею, которого он, отец, так сердечно желал.

Евфимия возразила, что следовало бы предварительно спросить ее, как отнеслась бы она к этому союзу, и прибавила, что дорожит возможностью стать близкой барону, но только не при посредстве Гермогена, который для нее слишком серьезен и вдобавок известен своими

причудами. После этого разговора, о котором барон тотчас поведал мне, Евфимия удвоила свое внимание к нему и Аврелии и даже легкими намеками наводила самого барона на мысль, что брак с ним отвечает идеалу, который она составила себе о счастливом супружестве. А все возражения, какие можно было сделать, сославшись, например, на разницу в годах, настойчиво опровергала; она шла к цели шаг за шагом, не торопясь, так осторожно и ловко, что барон воображал, будто все мысли, все желания, которые внушала ему она, возникали в нем самостоятельно. Он был еще крепким и бодрым, полным жизни человеком и вскоре почувствовал, что им всецело завладела пламенная юношеская страсть. Я не смог сдержать его неукротимого порыва: было слишком поздно. И вскоре Евфимия, к удивлению всей столицы, стала супругой барона. А у меня все более крепло чувство, что какое-то опасное, устрашающее существо, грозившее до этой поры лишь издали, вошло в мою жизнь и отныне надо быть начеку, оберегая и моего друга и самого себя.

Гермоген с холодным равнодушием отнесся к женитьбе отца. Аврелия, милое дитя, вся во власти вещей тревоги, залилась слезами.

Вскоре после свадьбы Евфимию потянуло в горы; и, признаюсь, она держала себя у нас столь обходительно и ровно, что я взирал на нее с невольным уважением. Так прошло два года спокойной, ничем не возмущаемой жизни. Обе зимы мы провели в столице, но и тут баронесса относилась к супругу с таким безграничным почтением, была столь внимательна к его самым незначительным желаниям, что заставила умолкнуть ядовитую зависть, и никто из молодых людей, мечтавших о победе над баронессой, не позволял себе ни малейшей вольности. Минувшей зимой, кажется, лишь я один начал испытывать вновь острое недоверие к Евфимии под влиянием ожившей у меня в душе прежней безотчетной неприязни к ней.

До замужества Евфимии одним из ее самых горячих поклонников и единственным, кого она, поддаваясь минутной прихоти, невольно отличала, был граф Викторин, молодой красивый майор лейб-гвардии, временами появлявшийся в столице. Поговаривали даже об отношениях между ними более близких, чем можно было судить со стороны, но неопределенный слух этот заглух так же скоро, как и возник. Прошлой зимой граф Викторин был как раз в столице, и, естественно, он появлялся в избранном кругу Евфимии; но, сдавалось, он вовсе не добивался ее внимания и даже избегал ее. Однако я нередко замечал, когда они полагали, что за ними никто не наблюдает, как скрещивались их распаленные взгляды, в которых, словно пожирающий огонь, бушевало пламенное сладострастие и сквозила знойная тоска. Однажды вечером в губернаторском дворце собралось блестящее общество; я стоял у оконной ниши, наполовину скрытой тяжелой богатой драпировкой, а в нескольких шагах от меня стоял граф Викторин. Смотрю, мимо него проходит Евфимия, одетая привлекательнее, чем когда-либо, в полном блеске своей красоты; он схватил ее за руку, но так, что никто не мог этого заметить, а она задрожала и бросила на него неопиcуемый взгляд, полный жара любви и томительной жажды наслаждения. Шепотом обменялись они несколькими словами, которых я не мог разобрать. Тут Евфимия, заметив меня, поспешно отвернулась, но до меня явственно донеслись ее слова: «За нами наблюдают!»

Я оцепенел от изумления, ужаса и боли!.. Ах, как мне описать, преподобный отец, мое тогдашнее состояние!.. Подумайте о моей любви, верной дружбе, о преданности моей барону... Недобрые предчувствия мои сбылись! Эти краткие слова доказывали, что у баронессы с графом существует тайная связь. И все же мне пришлось молчать, но я решил неустанно стеречь баронессу глазами Аргуса и, когда у меня будут веские улики ее преступления, сделать все, чтобы расторгнуть позорные узы, какими она опутала моего несчастного друга. Но кому под силу сражения с дьявольским коварством? Напрасны, совсем напрасны оказались все мои старания, а поделиться с бароном тем, что мне удалось увидеть и услышать, было бы попросту смешно, ибо она, коварная, нашла бы достаточно отговорок и ей нетрудно было бы выставить меня пустым и пошлым духовидцем...

Прошлой весной, когда мы тут водворились, на горах еще лежал снег, но это не мешало мне бродить по окрестностям; в соседней деревне я набрел однажды на парня, в походке и осанке которого было что-то некрестьянское, и, когда он оглянулся, я признал в нем графа Викторина; но он мгновенно скрылся за домами, и мне не удалось его разыскать... Что же другое могло толкнуть его на переодевание, как не уговор с баронессой!.. Да и сейчас мне доподлинно известно, что он снова здесь, мимо нас проскакал его егерь; но я, право, не понимаю, почему граф не посещал ее в городе!.. Месяца три тому назад тяжело заболевший губернатор пожелал повидаться с Евфимией, и она тотчас же собралась к нему в сопровождении Аврелии, а барон как раз прихворнул, и ему не пришлось поехать с ними.

Но тут горе да беда снова обрушились на наш дом. Евфимия вскоре написала барону, что Гермоген впал в черную меланхолию, перемежающуюся приступами яростного бешенства, и что он блуждает в полном одиночестве, осыпая проклятиями себя, свою судьбу, и тщетны все усилия друзей и врачей. Вам легко себе представить, ваше преподобие, какое впечатление произвела на барона эта весть. Вид обезумевшего сына слишком глубоко мог бы его потрясти, и посему я отправился в город один. Правда, сильнодействующие средства, которые пришлось к тому времени применить для излечения Гермогена, освободили его от припадков дикого исступления, но на смену пришла тихая меланхолия, и она-то казалась врачам неизлечимой. Его глубоко тронул мой приезд, и он сказал мне, что злосчастная судьба принуждает его отказаться навсегда от военной службы, ибо только в монастыре он сможет спасти душу от вечного проклятия. На нем уже было то одеяние, в котором вы его сейчас видели, ваше преподобие; невзирая на сопротивление, мне удалось привезти его домой. Он спокоен, но крепко держится задуманного, и бесплодными оказались все наши попытки вывести у него, чем вызвано его теперешнее состояние, а ведь раскрытие этой тайны могло бы подсказать средство исцелить Гермогена.

На днях баронесса написала, что по совету своего духовного отца она пришлет сюда монаха; общение с ним и его назидательные речи, будем надеяться, лучше всего помогут Гермогену, ибо помешательство его приняло явно религиозную окраску. И для меня большая радость, что выбор пал на вас, глубокочтимый отец, ибо поистине счастливый случай привел вас в столицу. Вы сможете вернуть подавленной горем семье утраченный ею покой, если будете ревностно стремиться к двоякой цели, — да благословит ваши старания Господь! Прежде всего выпытайте у Гермогена его ужасную тайну, ибо ему станет несравненно легче, когда он, пусть даже на святой исповеди, откроет ее; и да возвратит святая церковь этого юношу к прежней, исполненной всяческих радостей мирской жизни... Но постарайтесь сблизиться и с баронессой. Вам о ней все известно... Согласитесь, наблюдения мои такого рода, что их нельзя считать обоснованными уликами, но едва ли тут ошибка или несправедливое подозрение. Вы станете на мою сторону, когда увидите баронессу или покороче узнаете ее. По натуре своей она религиозна, а вы наделены столь необычайным даром слова, что, быть может, вам удастся глубоко проникнуть в ее сердце, и уже из одного страха лишиться вечного блаженства баронесса не будет больше изменять моему другу. И вот что я добавлю, ваше преподобие: порою мне кажется, будто барона, помимо тревоги за сына, снедает еще некое горе и похоже, он борется с какой-то неотвязно преследующей его мыслью. Мне пришло на ум, что недобрый случай мог ему доставить куда более убедительные, чем у меня, доказательства преступной связи баронессы с этим проклятым графом... Так я, глубокочтимый отец, препоручаю и своего столь любезного душе моей друга барона вашему духовному попечению.

На этом Райнхольд закончил свой рассказ, во время которого я испытывал всевозможные терзания, ибо в душе у меня боролись самые странные и противоречивые чувства. Мое собственное «я», игралище жестоких и прихотливых случайностей, распавшись на два чуждых друг другу образа, безудержно неслось по морю событий, коего бушующие волны грозили меня поглотить... Я никак не мог обрести себя вновь!.. Очевидно, Викторин не по моему желанию, а

по воле случая, подтолкнувшего меня под руку, сброшен в пропасть! Я заступаю на его место, но для Райнхольда я все же патер Медард, проповедник монастыря в...р, и, следовательно, я для него в самом деле тот, кто я в действительности!.. Но мне навязаны отношения Викторина с баронессой, в силу чего я становлюсь Викторином, и, значит, я Викторин. Я тот, кем я кажусь, а кажусь я вовсе не тем, кто я на деле, и вот я для самого себя загадка со своим раздвоившимся «я»!

Несмотря на бушевавшую у меня в душе бурю, я притворно сохранял подобающее духовному лицу спокойствие и предстал в надлежащем виде перед бароном. Это был пожилой человек, но в поблекших чертах его лица еще проступали признаки недавнего расцвета и незаурядной силы. Не годы – скорбь убелила его седины и провела глубокие борозды на его широком открытом челе. И все же в его разговоре и манере держаться сквозило веселое добродушие, которое должно было, несомненно, привлекать к нему людей. Когда Райнхольд представил меня как лицо, о скором прибытии которого извещала баронесса, он пристально посмотрел на меня; его взгляд становился все приветливее по мере того, как Райнхольд рассказывал, что несколько лет тому назад он слышал мои проповеди в монастыре капуцинов и убедился, какой у меня редкостный дар красноречия. Барон с искренним чувством подал мне руку и обратился к Райнхольду со следующими словами:

– Не знаю, любезный Райнхольд, почему черты лица его преподобия с первого взгляда поразили меня; они вызвали в моей душе воспоминания, которые я тщетно стараюсь живо и ясно воскресить.

Казалось, у него вот-вот вырвется: «Да ведь это же граф Викторин!» Ибо непостижимым образом я и сам теперь поверил, будто я действительно Викторин, и я почувствовал, как горячо заструилась у меня по жилам кровь и как ярко запылали мои щеки... Я полагался лишь на Райнхольда, знавшего меня как патера Медарда, хотя сейчас мне это казалось неправдой; и такая у меня в душе была путаница, что я не видел выхода.

Барон пожелал, чтобы я немедленно познакомился с Гермогеном, но его нигде не могли разыскать; говорили, что он бродит в горах, и о нем не беспокоились, ибо он и раньше пропадал там целыми днями. Весь день я провел в обществе Райнхольда и барона, мало-помалу собрался с духом и под вечер почувствовал в себе достаточно мужества и сил, чтобы дерзко противостоять самым необычайным поворотам событий, которые меня тут, казалось, поджидали. Ночью, оставшись в одиночестве, я заглянул в бумажник и окончательно убедился в том, что на дне пропасти действительно лежал граф Викторин; впрочем, письма к нему оказались совершенно незначительными по содержанию и ни одно из них ни единым словом не выдало его интимной жизни. Я решил, ни о чем более не беспокоясь, приноравливаться к *тому*, что мне будет уготовано волею случая, когда баронесса возвратится и увидит меня. А она совершенно неожиданно уже на следующее утро прибыла вместе с Аврелией. Я видел, как обе вышли из экипажа и в сопровождении барона и Райнхольда направились ко входу в замок. В тревоге я ходил взад и вперед по комнате, одолеваемый неясными предчувствиями, но продолжалось это недолго, меня позвали вниз. Баронесса поднялась мне навстречу – это была прекрасная, величавая женщина в расцвете красоты. Увидев меня, она как-то странно смутилась, голос ее задрожал, она с трудом подбирала слова. Явное замешательство баронессы придало мне мужества, я смело взглянул ей в глаза и дал ей, как подобает монаху, благословение... она побледнела и принуждена была снова сесть. Райнхольд, веселый и довольный, улыбаясь, смотрел на меня. Но вот двери распахнулись, вошел барон с Аврелией.

Едва я взглянул на Аврелию, как душу мою пронзил яркий луч, который воскресил и мои самые сокровенные чувства, и томление, исполненное блаженства, и восторги исступленной любви – словом, все, что звучало во мне далеким и смутным предчувствием; казалось, жизнь моя только теперь занимается, сияя и переливаясь красками, как ранняя заря, а прошлое, оцепеневшее, ледяное, осталось позади в крошечной тьме пустыни... Да, это была она, мое чуд-

ное видение в исповедальне! Печальный, детски чистый взгляд темно-синих глаз, мягко очерченные губы, чело, кротко склоненное будто в молитвенном умилении, высокая и стройная фигура – да нет же, это была вовсе не Аврелия, а сама святая Розалия!.. Лазоревая шаль ложилась прихотливыми складками на темно-красное платье Аврелии – совершенное подобие одеяния святой на иконе и Незнакомки в моем видении!.. Что значила пышная красота баронессы перед неземной прелестью Аврелии! Я видел только ее одну, все вокруг померкло для меня. Присутствующие заметили мое смятение.

– Что с вами, высокочтимый отец? – спросил меня барон. – Вы как-то странно взволнованы!

Слова его отрезвили меня, и вдруг я почувствовал в себе силу сверхчеловеческую, мужество небывалое, решимость выдержать любую борьбу, лишь бы *она* была наградой.

– Приношу вам свои поздравления, барон! – воскликнул я, будто внезапно осененный свыше. – Приношу свои поздравления. Тут среди нас, в этом зале витает святая, и вскоре небеса развернутся во всей своей благодостной лучезарности и сама святая Розалия в светлом сонме ангелов явится, расточая милость и утешение всем ее преклоненным почитателям, с упованием и верою взывающим к ней... Слышу, слышу славословия светоносных сил, стремящихся к святой и призывающих ее спуститься долу с лучезарных облаков. Вижу ее с приподнятым в сиянии небесной славы челом, взирающую на сонм святых!.. Sancta Rosalia, ora pro nobis!¹⁹

Устремив к небу глаза и молитвенно сложив руки, я опустился на колени, и все вокруг последовали моему примеру. Меня ни о чем не расспрашивали, приписав неожиданный порыв моего воодушевления наитию свыше, так что барон решил даже заказать в городском соборе мессу в приделе святой Розалии. Таким-то образом я отлично выпутался из затруднительного положения, и у меня окрепла готовность ради обладания Аврелией отважиться на все, не отступая даже перед угрозой смерти!.. Баронесса была как-то странно смущена, она не сводила с меня глаз, но, когда я устремлял на нее хладнокровный взгляд, отводила взор и тревожно озиралась по сторонам. Семья перешла в другие покои, а я, торопливо спустившись в парк, бродил по аллеям, придумывая и тут же отбрасывая тысячи всевозможных решений, мыслей, планов касательно моей будущей жизни в замке. Поздно вечером пришел Райнхольд и сказал, что баронесса, потрясенная моим религиозным порывом, просит меня заглянуть к ней.

Когда я переступил порог комнаты баронессы, она подошла ко мне, схватила меня за руку, пристально посмотрела в глаза и воскликнула:

– Да неужели... неужели и в самом деле... ты капуцин Медард?.. Но ведь голос, весь облик, глаза, волосы – твои! Отвечай же, или я умру от страха и сомнений!..

– Викторин! – еле слышно прошептал я.

Она обняла меня в диком порыве не знающего удержу сладострастия... Огонь забушевал во мне, кровь закипела, и неизъяснимое блаженство, восторженное безумие затуманило мое сознание; но и соединяясь с нею в грехе, я всем своим существом тянулся к Аврелии, и в этот миг, преступая священные обеты, лишь *ей одной* жертвовал своим вечным спасением.

Да, одна лишь Аврелия царила в моей душе, все мои помыслы принадлежали только ей, но я внутренне трепетал при мысли, что увижу ее вновь, когда семья соберется за ужином. И мнилось, правдивый взор ее уличит меня в смертном грехе, разоблачит и уничтожит, низринет в пучину вечной гибели и неизбежного стыда. После всего происшедшего я не мог встретиться и с баронессой и, когда меня пригласили к столу, предпочел остаться в отведенной мне комнате, сказав, что делаю это ради усердных молитв. Но уже спустя несколько дней я справился с робостью и смущением. Баронесса была безгранично любезна, и, чем тесней сближались мы с нею, предаваясь преступным наслаждениям, тем внимательнее становилась она

¹⁹ Святая Розалия, молись за нас! (лат.)

к барону. Она призналась мне, что вначале только моя тонзура и естественная борода да еще своеобразная монашеская поступь, которой я, впрочем, придерживался теперь уже не столь строго, нагнали на нее смертельный страх. А уж при моем внезапном вдохновенном обращении к святой Розалии она совсем было уверилась в том, что недобрая игра случая расстроила столь хитро задуманный план и подсунула на место Викторина какого-то проклятого монаха. Она восторгалась предусмотрительностью, с какою я завел тонзуру, отрастил бороду и так усвоил походку и осанку монаха, что она сама не раз пристально глядела мне в глаза, чтобы рассеять свои недоумения.

Иногда егерь графа Викторина приходил переодетый крестьянином в самый отдаленный конец парка, и я по возможности не пропускал случая поговорить с ним и напомнить ему, чтобы он держался наготове и помог мне бежать, если по недоброй случайности мне вдруг станет грозить опасность. Барон и Райнхольд как будто были чрезвычайно довольны мною, и оба настаивали на том, чтобы я со всем присущим мне красноречием поскорее воздействовал на глубоко ушедшего в себя Гермогена. Но мне все не удавалось заговорить с ним, он явно избегал оставаться со мною с глазу на глаз; когда же Гермоген заставал меня в обществе Райнхольда или барона, то он так странно глядел на меня, что мне стоило большого труда не выдать своего смущения. Казалось, он глубоко проник в мою душу и постиг мои сокровеннейшие мысли. Стоило ему увидеть меня, как на его бледном лице появлялось выражение неодолимой неприязни, с трудом подавляемой злобы и нелегко обуздываемого гнева.

Прогуливаясь однажды в парке, я вдруг встретился с Гермогеном; я подумал, что это подходящий случай наконец объясниться с ним по поводу наших тягостных взаимоотношений; видя, что он пытается ускользнуть, я схватил его за руку и с присущим мне даром слова столь задушевно и проникновенно убеждал его, что он, казалось, начал внимательно прислушиваться к моим речам и не в силах был подавить в себе умиление. Мы с ним уселись на каменную скамейку в глубине аллеи, которая вела к замку. Воодушевление мое все разгоралось, и я заговорил о том, какой это великий грех, когда человек, снедаемый глубокой скорбью, пренебрегает утешением и спасительной помощью церкви, духовно выпрямляющей всех согбенных скорбями, обремененных печалью, когда он отвергает те жизненные цели, которые поставила перед ним всевышняя сила. Ведь даже преступник не вправе усомниться в милосердии небес, ибо такое сомнение лишит его вечного блаженства, коего он мог бы еще достигнуть покаянием и молитвой. Наконец я сказал ему, чтобы он здесь же, немедленно, исповедался и, как перед Богом, открыл мне свою душу, заранее обещая ему отпущение любого греха. Но тут он вскочил, брови у него насупились, глаза сверкнули, его мертвенно-бледное лицо вспыхнуло ярким румянцем, и он воскликнул каким-то странным, пронзительно-резким голосом:

– Да разве ты сам чист от греха, что дерзаешь, как чистейший из чистых, как сам Господь Бог, над которым ты надругался, заглядывать мне в душу, дерзаешь отпускать мне грехи, когда ты сам тщетно будешь молить об отпущении твоих грехов и о небесном блаженстве, которые не суждены тебе вовек? Жалкий лицемер, знай, скоро пробьет для тебя час возмездия и, терзаемый нестерпимыми муками, ты будешь извиваться во прахе, как растоптанный ядовитый червь, и с воплями будешь молить о помощи и об избавлении, но безумие и отчаяние – вот грядущий твой удел!

Он стремительно удалился, а я был раздавлен, уничтожен, моему самообладанию, мужеству моему пришел конец. Но вот из замка вышла в шляпе и шали одетая на прогулку Евфимия. Я кинулся ей навстречу за утешением, за помощью; мой растерянный вид встревожил ее, она спросила, что со мной, и я слово в слово передал ей всю сцену моего объяснения с помешанным Гермогеном и признался, что опасаясь, уж не открыл ли он по злосчастной случайности нашу тайну. Но все это отнюдь не смутило Евфимию, она усмехнулась, и так странно, что меня пронизала дрожь.

– Пойдем подальше в парк, – сказала она, – здесь мы слишком на виду, и может показаться странным, что почтенный патер Медард так взволнованно разговаривает со мной.

Мы ушли в отдаленный лесок, и там Евфимия в неудержимом порыве обняла меня; ее жаркие, пламенные поцелуи обжигали мне губы.

– Не беспокойся, Викторин, не беспокойся об этом, не терзайся сомнениями и страхом, я даже рада твоему столкновению с Гермогеном, ведь нам с тобой можно теперь поговорить о многом, о чем я так долго умалчивала.

Согласись, я умею добиваться незаурядной духовной власти над всем, что меня окружает, и я полагаю, женщине это дается несравненно легче, нежели вам, мужчинам. Правда, немалое значение имеет и то, что помимо неизъяснимой, неодолимой прелести внешнего облика, дарованного ей природой, в женщине живет некое высшее начало, благодаря которому это очарование внешности в сочетании с духовной силой дает ей власть достигать любой цели. Она обладает чудесной способностью отрешаться от себя самой и рассматривать свое собственное «я» как бы со стороны, и отрешение это, покорствуя высшей воле, становится средством для достижения самой высокой цели, какую человек ставит себе в своей жизненной борьбе. Что может быть выше такого состояния, когда силою своей жизни ты господствуешь над жизнью и все ее проявления, все богатство ее наслаждений можешь по своей властной прихоти подчинить себе могуществом своих чар?

Ты, Викторин, с самого начала был в числе тех избранных, кто был способен меня постигнуть и, подобно мне, подняться над самим собой, вот почему я сочла тебя достойным стать моим венценосным супругом и возвела тебя на престол моего высшего царства. Тайна придала особую прелесть этому союзу, а наша мнимая разлука лишь открыла простор причудам нашей фантазии, насмеявшейся над низменными отношениями повседневной действительности. Разве наша теперешняя совместная жизнь – стоит лишь взглянуть на нее с высшей точки зрения – не дерзновенный шаг, не глумление над жалкой ограниченностью будничной среды? Хотя в твоём облике сквозит что-то чуждое, необъяснимое до конца одним только одеянием, у меня такое чувство, словно дух подчинился господствующему над ним, правящему им началу и с волшебной силой воздействует на окружающее, преобразуя и изменяя даже твой физический облик, так что он вполне соответствует предначертанному.

Ты знаешь, как искренне я презираю с высоты присущего мне взгляда на вещи всякие пошлые условности, как я играю ими по своему усмотрению.

Барон – надоевшая мне до отвращения заводная игрушка, отброшенная прочь, оттого что у нее износился механизм.

Райнхольд слишком ограничен, чтобы на него стоило обращать внимание. Аврелия – наивное дитя, и нам приходится считаться лишь с одним Гермогеном.

Я признавалась уже тебе, что Гермоген с первого взгляда произвел на меня необычное впечатление. Я сочла его способным подняться в высшую сферу жизни, которую я перед ним открывала, и впервые ошиблась.

В нем было нечто враждебное мне, какое-то живое и стойкое противоречие, и даже мои чары, невольно покорявшие других, только отталкивали его. Он был холоден ко мне, угрюмо замкнут, и эта его удивительная, противоборствовавшая мне сила вызвала во мне страстное желание вступить с ним в схватку, в которой ему неотвратимо предстояло пасть.

Я твердо решилась на эту борьбу после того, как барон сказал мне, что Гермоген решительно отклонил его предложение жениться на мне.

И тут, будто искра небесного огня, озарила меня мысль выйти замуж за самого барона и этим разом устранить со своего пути множество мелких условностей, нередко досаждавших мне в моей повседневной жизни; мы с тобой, Викторин, часто говорили об этом замужестве, и я опровергла твои сомнения делом, ибо в несколько дней сумела превратить старика в потерявшего голову нежного поклонника, который, поступив, как я того хотела, принял это за испол-

нение своих самых заветных желаний, о которых он и заикнуться не смел. Была у меня где-то в глубине сознания и еще одна цель – отомстить Гермогену, и сделать это теперь было легче и проще. Но я откладывала миг нанесения удара, чтобы поразить точно и насмерть.

Если бы мне не были так хорошо известны твои душевные свойства и если б не моя уверенность, что ты в силах подняться на высоту моих взглядов, я, быть может, усомнилась бы, следует ли рассказывать тебе о том, что затем произошло. Я приняла решение проникнуть в его душу и с этой целью явилась в столицу мрачная, замкнутая, как резкая противоположность Гермогену, который беспечно и весело вращался в живом кругу военных дел. Болезнь дяди не позволяла мне появляться в свете, я избегала даже близких знакомых и друзей.

Гермоген навестил меня, быть может только выполняя свою сыновнюю обязанность; он нашел меня в мрачном раздумье, пораженный внезапной переменой во мне, настойчиво начал выведывать причину; я залилась слезами и призналась ему, что слабое здоровье барона, как он это ни скрывает, вызвало у меня опасения, что вскоре я могу его потерять, а мысль эта для меня ужасна, невыносима. Он был потрясен; когда же я с глубоким чувством стала описывать свое супружеское счастье с бароном и живо и нежно входила во все мелочи нашей жизни в поместье, когда я представила во всем блеске и личность и характер барона и все очевиднее становилось, что я безгранично уважаю его и только им и дышу, – я заметила, что удивление, изумление его все возрастают.

Он явно боролся со своим предубеждением, но та сила, которая вторглась в сокровенную глубину его души как мое собственное «я», одерживала победу над враждебным мне началом, до той поры мне противоборствовавшим; уже на другой вечер он вновь появился у меня, и я окончательно уверилась в том, что скорое торжество мое неотвратимо.

Он застал меня в одиночестве, еще мрачнее, в еще большей тревоге, чем накануне; я заговорила с ним о бароне, об охватившем меня невыразимом стремлении поскорее увидеться с ним. А вскоре Гермогена было не узнать: он неотрывно смотрел мне в глаза, и опасный их огонь воспламенял его душу. Его рука часто и судорожно вздрагивала, когда в ней покоилась моя рука, и глубокие вздохи вырывались у него из груди. Я безошибочно рассчитала, когда его бессознательное обожание достигнет крайней точки. В вечер его неотвратимого падения я не пренебрегла даже самыми избитыми приемами обольщения, зная, что они никогда не подведут. Свершилось!..

Последствия оказались невообразимо ужасными, зато они усилили мой триумф, блистательно подтвердив мое могущество.

Сокрушительный натиск на враждебное мне в Гермогене начало, прорывавшееся раньше в неясном предчувствии, надломил его душу, и он лишился рассудка, – ты это знаешь, но только истинная причина его безумия была тебе до сей поры неизвестна.

У помешанных есть одна особенность: они кажутся более чуткими к проявлениям человеческого духа, а душа у них возбуждается легко, хотя и бессознательно, при столкновении с чужим духовным началом, оттого они нередко прозревают самое сокровенное в нас и высказывают его в такой поразительно созвучной форме, что порой мы с ужасом внемлем словно бы грозному голосу нашего второго «я». И возможно, что благодаря особенностям положения, в каком оказались мы трое – ты, Гермоген и я, – он непостижимым образом видит тебя насквозь и потому так враждебно к тебе относится; но все же опасности для нас нет ни малейшей. Пойми, если он даже открыто выступит против тебя и скажет: «Не доверяйте тому, кто переоделся священником», то разве не сочтут это сумасбродной выдумкой, тем более что Райнхольд так любезно принял тебя за патера Медарда?

Однако теперь ты уже не сможешь повлиять на Гермогена в желательном для меня направлении. А все же месть моя свершилась, и отныне он для меня – надоевшая игрушка; он лишний здесь, тем более что, по-видимому, в знак покаяния он возложил на себя епитимью – решил казнить, глядя на меня, и оттого он так преследует меня упорным взглядом своих уже

безжизненных глаз. Надо удалить его прочь, и я подумала, что ты укрепишь его в намерении постричься и в то же время будешь настойчиво убеждать барона и Райнхольда, его друга и советника, в том, что Гермогену для восстановления душевного здоровья действительно необходим монастырь, и они, постепенно свыкаясь с этой мыслью, одобряют его намерение.

Да, Гермоген мне в высшей степени противен, и вид его часто расстраивает меня – надо удалить его прочь!

Единственное существо, с кем он совсем иной, это Аврелия, кроткое, младенчески чистое дитя, и только через нее ты сможешь воздействовать на Гермогена, вот почему я и позабочусь о твоём сближении с нею. Улучи благоприятный момент, открой Райнхольду или барону, что Гермоген исповедался тебе в тяжком грехе, о котором ты, разумеется, по долгу священника обязан молчать. Подробнее об этом после!

Ну, Викторин, теперь ты знаешь все, так действуй же и будь по-прежнему моим. Господствуй вместе со мной над пошлым мирком марионеток, что вертятся вокруг нас. И да расточает нам жизнь свои обольстительные наслаждения, не накладывая на нас своих оков.

Тут мы увидели вдали барона и пошли ему навстречу, сделав вид, что ведем душевспасительную беседу.

Все, что сказала Евфимия о своих жизненных устремлениях, было, пожалуй, толчком, который пробудил во мне сознание моей незаурядной силы, одушевлявшей меня как проявление высшего начала. Я почувствовал в себе нечто сверхчеловеческое и поднялся вдруг до столь высокого взгляда на вещи, что все предстало мне в иных соотношениях и в ином свете. Горькую усмешку вызвала у меня похвальба Евфимии силой духа и властью своей над жизнью. Ведь как раз в тот миг, когда эта несчастная, предаваясь своей беспутной и легкомысленной игре, воображала, что управляет самыми опасными нитями жизни, она была брошена на волю случая или злого рока, водившего моей рукой. Ведь только моя мощь, возгоревшаяся от неких таинственных сил, могла поддерживать в ней иллюзию, что я союзник ее и друг, меж тем как я, на горе ей случайно наделенный внешним обликом ее возлюбленного, подобно Врагу рода человеческого, властно заключил ее в железные объятия, из которых ей было уже не вырваться. Евфимия в своем суетном себялюбивом ослеплении стала теперь в моих глазах существом презренным, а связь с нею казалась мне тем отвратительней, что в сердце моем царила одна Аврелия и лишь ради нее вступил я на стезю греха, если можно считать грехом то, что для меня было теперь вершиной земных наслаждений. Я решил как можно полнее использовать присущую мне внутреннюю мощь и ее волшебным жезлом очертить магический круг, в котором все придет в движение мне в угоду.

Барон и Райнхольд старались наперебой сделать мою жизнь в замке как можно приятнее; ни тени подозрения не возникало у них относительно моей связи с Евфимией, напротив, барон часто говорил в порыве откровенности, что только благодаря мне Евфимия душой возвратилась к нему, и это именно казалось мне подтверждением догадки Райнхольда о какой-то случайности, открывшей барону глаза на преступную любовь Евфимии. Гермогена я видел редко, он избегал меня с явным страхом и беспокойством, которые барон и Райнхольд объясняли тем, что он робел перед моим святым, исполненным благочестия существом и моей духовной силой, прозревавшей все творившееся в его расстроенной душе. Аврелия тоже как будто намеренно избегала моего взгляда, она ускользала от меня, и когда я заговаривал с нею, то и она, подобно Гермогену, испытывала смятение и страх. Я был почти уверен, что безумный Гермоген рассказал Аврелии, какие ужасные помыслы меня обуревают, но мне все же казалось возможным загладить это дурное впечатление.

Барон, как видно по наущению Евфимии, пожелавшей сблизить меня со своей падчерицей, чтобы та повлияла на брата, попросил меня давать Аврелии наставления в таинствах веры. Так сама Евфимия предоставляла мне средство осуществить ту обольстительную мечту, какая рисовалась моему воспаленному воображению, вызывая несметное множество сладострастных

картин. Разве мое видение в исповедальне не было обетованием некой высшей силы даровать мне ту, обладание которой только и могло утишить разразившуюся у меня в душе бурю, швырявшую меня с волны на волну.

Стоило мне увидеть Аврелию, ощутить близость ее, прикоснуться к платью, как я весь загорался. Горячий поток крови ударял мне в голову, туда, где совершалась таинственная работа мысли, и я пояснял ей исполненные чудес тайны религии жгучими иносказаниями, истинное значение которых сводилось к сладострастному неистовству пламенной, алчущей любви. Этот жар моих речей должен был подобно электрическому разряду пронизывать все существо Аврелии, и всякое сопротивление с ее стороны представлялось мне тщетным.

Зароненные в ее душу образы незаметно должны были пустить корни и дать дивные всходы, затем, все блистательнее и пламеннее раскрывая свой сокровенный смысл, наполнить ее предчувствием неведомых наслаждений, а тогда уж Аврелия, истерзанная тревогами и муками необъяснимого томления, сама бросится в мои объятия. Я тщательно готовился к мнимым урокам с Аврелией и умело усиливал выразительность речи; кроткое дитя слушало меня с набожным видом, с благочестиво сложенными руками, опустив свои очи долу, но ни единым движением или хотя бы легким вздохом не выказывая, глубоко ли западали ей в душу мои слова.

Сколько я ни бился, незаметно было, чтобы я подвигался вперед; вместо того чтобы зажечь в сердце Аврелии губительный пожар и сделать ее жертвой обольщения, я только сильнее разжигал в своей душе мучительный, пожирающий огонь страсти.

Я бесновался, терзаемый неутоленной похотью, вынашивал планы соращения Аврелии и, выказывая Евфимии притворные восторги и упоение, чувствовал, как у меня в душе, усиливая в ней весь этот страшный разлад, вскипает жгучая ненависть к баронессе, придававшая моему обращению с нею нечто дикое, разящее ужасом, что приводило ее в трепет.

Даже отдаленно не догадываясь о тайне, запечатленной у меня в душе, она невольно все больше и больше покорялась власти, какую я приобретал над нею.

Часто приходило мне на ум насильно, с помощью какой-нибудь искусной уловки овладеть Аврелией и положить конец моим страданиям; но стоило мне встретиться с ней лицом к лицу, как у меня возникало такое чувство, будто подле нее стоит, охраняя и защищая ее, ангел, готовый противодействовать темной силе. Холод пронизывал меня, и мое коварное намерение остывало. Наконец я набрел на мысль молиться с нею, ибо в молитве жарче льется пламенный поток благоговения и пробуждаются таинственные душевные порывы, которые, вздымаясь на гребнях бушующих волн и простирая во все стороны щупальца, уловляют то неведомое, чему суждено успокоить мятежное, несказанное томление. Тогда земное, смело выступив под личиной небесного, может застигнуть душу врасплох, соблазнить ее обещанием величайших восторгов, утолением уже здесь, на земле, ее неизреченных стремлений; слепая страсть ринется по ложному пути, а тяготение к святому, неземному замрет в дотоле неизведанном, неопишемом экстазе земного вожделения.

Даже в том, что Аврелии приходилось вслух повторять составленные мною молитвы, я видел пользу для моих предательских замыслов.

Так оно и вышло!

Однажды она стояла на коленях рядом со мною, устремив к небу взор, и повторяла слова произносимой мною молитвы; щеки у нее заалелись от волнения и сильнее поднималась и опускалась грудь.

Тогда я, словно забывшись в жару молитвы, схватил ее за руки и прижал их к своей груди. Я был так близок к ней, что на меня пахнуло ее теплом, и кудри ее рассыпались по моим плечам; вне себя от безумной страсти я обнял ее в порыве исступления, и поцелуи мои уже запылали у нее на устах и на груди, как вдруг она с душераздирающим воплем вырвалась из моих объятий; я не в силах был ее удержать – мне казалось, будто молния пронзила меня!

Она скрылась в соседнем покое, но тут же двери распахнулись, на пороге показался Гермоген и замер, вперив в меня леденящий, пронизывающий, исполненный дикого безумия взор. Овладев собой, я смело подошел к нему и воскликнул властным, повелительным тоном:

– Что тебе здесь надо? Прочь отсюда, безумный!

Но Гермоген, протянув ко мне правую руку, глухо и грозно промолвил:

– Я сразился бы с тобой, но при мне нет шпаги; а ты – воплощенное убийство: капли крови сочатся из твоих глаз и сгустки ее застыли у тебя в бороде!

Он исчез, хлопнув дверью, а я остался один, скрежеща зубами от гнева на себя самого за то, что поддался мгновенному порыву и мне грозят разоблачение и гибель. Но никто не являлся, и мало-помалу я вновь обрел мужество, а завладевший мною дух вскоре надоумил меня, как избежать дурных последствий недоброго начинания.

При первой возможности я бросился к Евфимии и с дерзкой самонадеянностью рассказал ей обо всем, что у меня произошло с Аврелией. Евфимия отнеслась к событию не так легко, как мне хотелось бы, и было очевидно, что, несмотря на пресловутую твердость духа и способность смотреть на все с какой-то высшей точки зрения, она не была свободна от мелкой ревности; к тому же она опасалась, что Аврелия нажалуется, ореол моей святости рассеется и чего доброго раскроется тайна нашей связи; по непонятной мне причине я поостерегся рассказать ей о внезапном вторжении Гермогена и его ужасных, потрясших меня словах.

Евфимия устремила на меня странный взгляд и в глубоком раздумье молчала несколько минут.

– Неужели, Викторин, ты не догадываешься, – проговорила она наконец, – какая блестящая мысль, вполне достойная моего ума, меня осенила?..

Вижу, не догадываешься, но расправь живей крылья и следуй за мной в отважном полете. Я не виню тебя за влечение к Аврелии, хотя мне, право, удивительно, что ты, кому следовало бы вольно и царственно парить над всеми явлениями жизни, не можешь постоять на коленях возле смазливой девчонки, не поддавшись соблазну обнять ее и поцеловать. Насколько я знаю Аврелию, она по своей стыдливости будет молчать о происшедшем и, самое большее, подыщет благовидный предлог, чтобы избавиться от твоих не в меру страстных уроков. Вот почему я ничуть не боюсь неприятных последствий твоего легкомыслия или, вернее, твоей необузданной страсти.

Я не испытываю ненависти к ней, этой Аврелии, но меня раздражает ее скромность и молчаливая напускная набожность, за которой скрывается нестерпимая гордыня. Она всегда была со мной робкой и замкнутой, и я так и не смогла завоевать ее доверия, хотя постоянно шла ей навстречу, становилась подругой ее игр. Это упорное нежелание сблизиться со мной, это высокомерное стремление избегать меня вызывают во мне крайне враждебные чувства к ней.

И вот такая блестящая мысль меня осенила: этот цветок кичится своими свежими непорочными красками – сорвать его, и пусть он поблекнет!

Осуществить эту мысль должен ты, и у нас достаточно возможностей легко и наверняка достигнуть цели.

Вина же пусть падет на Гермогена, и это довершит его гибель!..

Евфимия еще долго развивала свой замысел и с каждым словом становилась мне все ненавистнее, ибо я видел в ней лишь подлую, преступную женщину; и хотя я жаждал падения Аврелии, не надеясь иначе избавиться от нестерпимых мук безумной любви, истерзавшей мое сердце, мне претила помощь Евфимии. К немалому ее удивлению, я отклонил ее план, а в душе твердо решил, что добьюсь всего сам, без содействия, которое навязывала мне Евфимия.

Как и предполагала баронесса, Аврелия, ссылаясь на нездоровье, не выходила из своей комнаты и таким образом на ближайшие дни освободилась от уроков. Гермоген, вопреки своему обыкновению, проводил теперь много времени в обществе Райнхольда и своего отца; он казался менее замкнутым, но сделался еще необузданнее и яростнее. Временами он громко

и исступленно разговаривал сам с собой, и я заметил, что при наших случайных встречах он смотрел на меня со сдержанной злобой; обращение со мной барона и Райнхольда в последние дни странным образом изменилось. Внешне они выказывали мне не меньше внимания и уважения, но, по-видимому, их томило какое-то смутное предчувствие, и они никак не могли найти тот душевный тон, который еще недавно сообщал непринужденность нашим беседам. Их разговор со мной стал таким вымученным, таким холодным, что я терялся в догадках и мне стоило немалого труда сохранять спокойствие.

Красноречивые взгляды Евфимии, которые я всегда правильно истолковывал, подсказывали мне, что случилось нечто весьма ее взволновавшее, но весь день нам не удавалось поговорить с глазу на глаз.

Глухой ночью, когда все в замке давно уже спали, у меня в комнате медленно отворилась потайная дверь, которую я до тех пор не замечал, и вошла Евфимия, но такая расстроенная, какой я еще никогда ее не видел.

– Викторин, – сказала она, – нам грозит предательство; Гермоген, безумный Гермоген под влиянием какого-то странного предчувствия проник в нашу тайну. Намеками, звучащими как жуткие, грозные речения той неведомой силы, что властвует над нами, он вызвал у барона подозрение, которое тот открыто не высказывает, но оно все же мучительно преследует меня...

Гермоген, как видно, не подозревает, кто ты такой, не догадывается, что под этим священным одеянием скрывается граф Викторин; но он утверждает, что ты впустилище измены, коварства, гибели, грозящих нашему дому; по его словам, монах явился к нам подобно сатане и, вдохновляемый дьявольской силой, замышляет адовы козни.

Нет, это нестерпимо, я измучилась под ярмом, какое надел на меня впавший в детство и терзаемый болезненной ревностью старик, подстерегающий каждый мой шаг. Пора отбросить его, как надоевшую игрушку, а ты, Викторин, тем охотнее будешь мне помогать, что избежишь опасности разоблачения и не дашь низвести гениально задуманную нами интригу до уровня пошлой комедии с переодеваниями или безвкусной истории супружеской измены! Пора убрать ненавистного старика – так посоветуемся же, как это осуществить, но сперва послушай мое мнение.

Ты знаешь, барон каждое утро, пока Райнхольд занимается делами, уходит в горы полюбоваться видом... Выберись из дому пораньше и постарайся встретиться с ним у выхода из парка. Неподалеку отсюда громоздятся дикие, грозные скалы. Поднявшись на них, путник видит перед собой мрачную бездонную пропасть и нависший над нею выступ скалы, прозванный Чертова Скамья. По народному поверью, из бездны поднимаются ядовитые испарения; смельчака, вздумавшего подсмотреть ее тайны и заглянуть вниз, они одурманивают, и, сорвавшись, он низвергается в пропасть на верную смерть. Барон смеется над этой сказкой, уже не раз он стоял на крутизне, наслаждаясь открывающимся с нее видом. И нетрудно будет навести его на мысль показать тебе это опасное место; когда же он будет стоять, жадно всматриваясь в окрестности, подтолкни его своим железным кулаком, и мы навсегда избавимся от этого немощного глупца.

– Нет, ни за что на свете! – горячо воскликнул я. – Я знаю эту страшную пропасть, знаю Чертову Скамью! Ни за какие блага в мире не соглашусь я на такое злодеяние – прочь от меня!

Евфимия вскочила, глаза у нее вспыхнули бешеным огнем, лицо исказилось от запывавшей в ней ярости.

– Жалкий, тупой, безвольный трус! – воскликнула она. – Неужто ты посмеешь противиться моим замыслам? Предпочтешь постыдное иго высокому уделу властвовать вместе со мной? Так знай же, ты в моих руках и не тебе свергнуть власть, бросившую тебя к моим ногам! Ты исполнишь то, что я тебе велю, и завтра же этот ненавистный мне человек погибнет от твоей руки!

При этих словах Евфимии я ощутил глубочайшее презрение к ее жалкой похвальбе; я громко расхохотался прямо ей в лицо, она мертвенно побледнела, затрепетав от охватившего ее ужаса, а я воскликнул с горькой усмешкой:

– Безумная, ты вообразила, будто властвуешь над жизнью и тебе позволено играть ею, но берегись, как бы эта игрушка не обернулась вдруг в твоей руке разящим клинком и не покарала тебя!.. Ты возомнила в своем жалком ослеплении, что властвуешь надо мной, но это я, подобно Року, заключил тебя в оковы и так крепко держу, что ты со всей своей преступной игрой – только связанный хищный зверь, судорожно извивающийся в клетке. Знай, злополучная, твой любовник лежит растерзанный на дне той пропасти и не его ты обнимала, но самого духа мщения!.. Ступай же, твой удел – отчаяние и безнадежность.

Евфимия пошатнулась: дрожь пронзила ее, и она чуть было не упала, но я схватил ее и вытолкнул через потайную дверь в коридор... У меня появилась мысль убить ее, но я, сам того не сознавая, тут же оставил это намерение, ибо, как только я запер за ней потайную дверь, мне почудилось, что я уже умертвил ее! Мне послышался пронзительный крик и звук захлопнувшейся двери.

Теперь уж и я возомнил себя на той исключительной высоте, которая возносила меня над заурадными человеческими действиями и поступками; отныне удар должен был следовать за ударом, и я, возвестив о себе как о духе мести, готов был свершать чудовищные дела... Евфимии я вынес смертный приговор – и моя жгучая ненависть к ней в сочетании с блаженным упоением самой пылкой любви должна была доставить мне именно то наслаждение, какое достойно было вселившегося в меня сверхчеловеческого духа: в минуту гибели Евфимии Аврелия должна будет стать моей.

Я был поражен самообладанием Евфимии – уже наутро она казалась непринужденно веселой. Она заявила, что ночью с нею приключилось нечто вроде приступа лунатизма, после чего начались мучительные судороги; барон, казалось, отнесся к ней с сердечным участием, Райнхольд поглядывал с сомнением и недоверием. Аврелия не выходила из своей комнаты, и, чем затруднительнее становилось увидеть ее, тем неистовее бушевала во мне страсть. Евфимия предложила мне прийти в ее комнату обычным путем, когда все в замке затихнет.

Я выслушал ее с восторгом, ибо это означало, что близится час ее гибели.

У меня с юношеских лет был небольшой остроконечный нож, которым я ловко орудовал, развлекаясь резьбой по дереву; я спрятал его в рукав сутаны и, приготовившись таким образом к убийству, пошел к Евфимии.

– Вчера, – заговорила она, – у нас обоих были тяжелые, жуткие кошмары, нам чудились пропасти и что-то еще, но сейчас все это позади!

Затем она, как всегда, отдалась моим преступным ласкам, и я, преисполненный ужасающего, дьявольского глумления, как только мог, злоупотреблял ее низменной чувственностью, испытывая к ней одну лишь похоть. Когда она лежала в моих объятиях, у меня вдруг выпал нож; она задрожала в смертельном страхе, но я проворно поднял ножик, откладывая убийство, ибо мне представилась возможность совершить его другим оружием.

Я увидел на столе цукаты и итальянское вино.

«Как это пошло и неуклюже», – подумал я, быстро и незаметно переставляя бокалы; затем я лишь притворился, что ем фрукты, а на самом деле спускал их в широкий рукав сутаны. Я уже раза три отведал вино, но из того бокала, который Евфимия поставила было перед собой, как вдруг она, сделав вид, что услышала в замке шум, попросила меня поскорей уйти.

Она все так подстроила, чтобы я умер в своей комнате! Крадучись, пробирался я по длинным, еле освещенным коридорам; но, проходя мимо комнаты Аврелии, остановился как вкопанный.

Я живо представил себе ее лик, мерцавший передо мною, как в том видении, упоенный любовью взор ее, и мне почудилось, будто она манит меня к себе рукой. Едва я нажал ручку, как

дверь подалась, и я очутился в комнате, а из приотворенной двери в спальню на меня пахнуло душным воздухом, еще сильнее распалившим мою неистовую страсть, – меня одурманило, я с трудом переводил дыхание.

Из спальни слышались тревожные вздохи спящей, быть может, ей грезились предательство и убийство... Прислушавшись, я уловил, что она молится во сне!

«К делу, скорей к делу, что ты медлишь, миг ускользнет!» – внушала вселившаяся в меня неведомая сила.

Я уже переступил порог, как вдруг позади меня кто-то закричал:

– Проклятый злодей! Ну, теперь тебе не уйти! – и я почувствовал, что кто-то схватил меня сзади с чудовищной силой.

То был Гермоген. Я обернулся, с величайшим трудом вырвался из его рук и бросился бежать. Но он снова схватил меня сзади и, взбешенный, вцепился мне в затылок зубами!

Долго и тщетно боролся я с ним, обезумев от ярости и боли, наконец мне удалось нанести ему сильный удар и отбросить его, а когда он снова ринулся на меня, я выхватил нож – удар, другой, и он, хрипя, рухнул на пол, да так, что его падение глухо отозвалось по всему коридору, куда мы вытеснили друг друга в отчаянной борьбе.

Едва Гермоген упал, как я в диком исступлении бросился вниз по лестнице, но из конца в конец замка уже неслись крики: «Убийство! Убийство!»

Повсюду замелькали свечи, послышался топот людей, бежавших по длинным коридорам... В смятении я заблудился и попал на дальнюю лестницу.

Шум все усиливался, огней в замке все прибавлялось, и все ближе и ближе, все страшнее звучало: «Убийство! Убийство!» Я различил голоса барона и Райнхольда, громко отдававших приказания слугам.

Куда бежать, куда спрятаться от погони?

Всего за несколько минут до того, как я хотел убить Евфимию тем самым ножом, каким я умертвил безумного Гермогена, мне казалось, что я смогу, полагаясь на свою силу, с окровавленным оружием в руке открыто уйти из замка и что оробевшие, объятые ужасом обитатели его не посмеют меня задержать; теперь же я сам испытывал смертельный страх. Но наконец-то, наконец я попал на парадную лестницу, куда шум доносился лишь издалека, из покоев баронессы, а здесь все затихло; три исполинских прыжка – и я внизу, в нескольких шагах от портала замка. Вдруг по коридорам прокатился пронзительный вопль, похожий на тот, какой мне послышался прошлой ночью.

«Это она скончалась, умерщвленная ядом, который своими руками приготовила для меня», – глухо отозвалось во мне. Смятение на половине Евфимии усиливалось. Аврелия в страхе звала на помощь. И снова раздались наводившие ужас крики: «Убийство! Убийство!» Это подняли и понесли труп Гермогена!..

– Догоните убийцу! – кричал Райнхольд.

Я злобно расхохотался, и смех мой раскатами пронесся по зале, по коридорам.

– Безумцы, – грозно закричал я, – неужто вы мните, что вам удастся связать карающий грешников Рок?..

Они прислушались и как вкопанные всей гурьбой остановились на лестнице.

Тут у меня пропало желание бежать... Нет, двинуться им навстречу и громовой речью возвестить им, как на этих грешников обрушилась Божья кара... Но... какое леденящее зрелище!.. Предо мной... предо мной вырос кровавый призрак Викторина, и это не я, а он проносил те грозные слова.

Волосы у меня встали дыбом, я ринулся в безумном страхе прочь, помчался через парк!

Вскоре я очутился на свободе, но вдруг позади меня послышался конский топот; порываясь из последних сил уйти от погони, я споткнулся о корень дерева и упал. Возле меня на всем скаку осадил коней. То был егерь Викторина.

– Ради бога, ваша милость, – заговорил он, – что там приключилось в замке? Кого-то убили! По всей деревне переполох... Но как бы там ни было, Господь надоумил меня собрать вещи и прискакать из местечка сюда; вы найдете, ваша милость, все необходимое в навьюченном на лошадь ранце, ведь нам, я вижу, придется на время расстаться, – стряслась беда, не так ли?

Я поднялся и, взобравшись на лошадь, приказал егерю возвращаться в местечко и там ожидать моих распоряжений. Едва он скрылся во мраке, я слез с лошади и, ведя ее на поводу, стал осторожно продираться сквозь пихтовый, стеною стоящий лес.

Глава третья

Приключения в пути

Первые лучи солнца еще только начали пробиваться сквозь чашу леса, как я увидел перед собой свежий, светло струившийся по разноцветной гальке ручей. Лошадь, с которой я так тяжело продирался сквозь пихтовые дебри, смирно стояла неподалеку, мне не терпелось взглянуть, что было в ранце.

Белье, одежда, кошелек, туго набитый золотом, – вот что я нашел в нем.

Я решил немедленно переодеться; в одном из отделений оказались маленькие ножницы и гребень, я подстриг себе бороду и кое-как привел в порядок волосы. Я сбросил сутану, из которой извлек роковой стилет, бумажник Викторина да оплетенную флягу с остатками эликсира сатаны, и спустя несколько минут на мне уже было светское платье, а на голове дорожная шапочка; поглядев на свое отражение в ручье, я едва мог себя узнать. Вскоре я очутился на опушке леса; поднимавшийся вдали дымок и явственно доносившийся до меня колокольный звон выдавали близость деревни. И только я поднялся на холм, возникший впереди, как увидел приветливую долину, где раскинулось большое селение. Свернув на широкую дорогу, которая, змеясь, сбегала вниз, я выждал, когда спуск стал более отлогим, и взобрался на коня, чтобы постепенно приучаться к этому совершенно чуждому мне виду передвижения.

Сутану я спрятал в дупло дерева и с нею словно похоронил в этом мрачном лесу злоешие события, разразившиеся в замке; я был бодр и весел, чудовищный окровавленный образ Викторина стал мне казаться плодом моего расстроенного воображения; последние же слова, которые я крикнул своей погоне, вырвались у меня бессознательно, как по наитию, и ясно выразили истинный смысл той случайности, которая привела меня в замок и повлекла за собою все, что мне суждено было совершить.

Я выступил в роли всемогущей судьбы, которая, карая злодеяние, позволяет грешнику своею гибелью искупить вину. И только милый образ Аврелии по-прежнему жил у меня в душе, я не мог думать о ней без стеснения в груди и какой-то гложащей боли в сердце.

Но у меня было такое чувство, что мы еще свидимся с нею где-то в далеких краях, и она, увлекаемая непреодолимым стремлением, прикованная ко мне нерасторжимыми узами, еще будет моей.

Тут я стал замечать, что попадавшиеся мне навстречу люди в удивлении останавливались и долго смотрели мне вслед, а хозяина постоялого двора вид мой до того озадачил, что он слова не мог вымолвить, и это немало меня встревожило. Пока я завтракал, покормили мою лошадь, а тем временем в горницу вошло несколько крестьян; перешептываясь друг с другом, они исподлобья бросали на меня опасливые взгляды.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.